



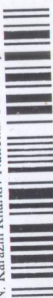
ТАТАРСКИЕ ПИСАТЕЛИ КРЫМА



1940

Item 41501

V.N. Karazin Kharkiv National University



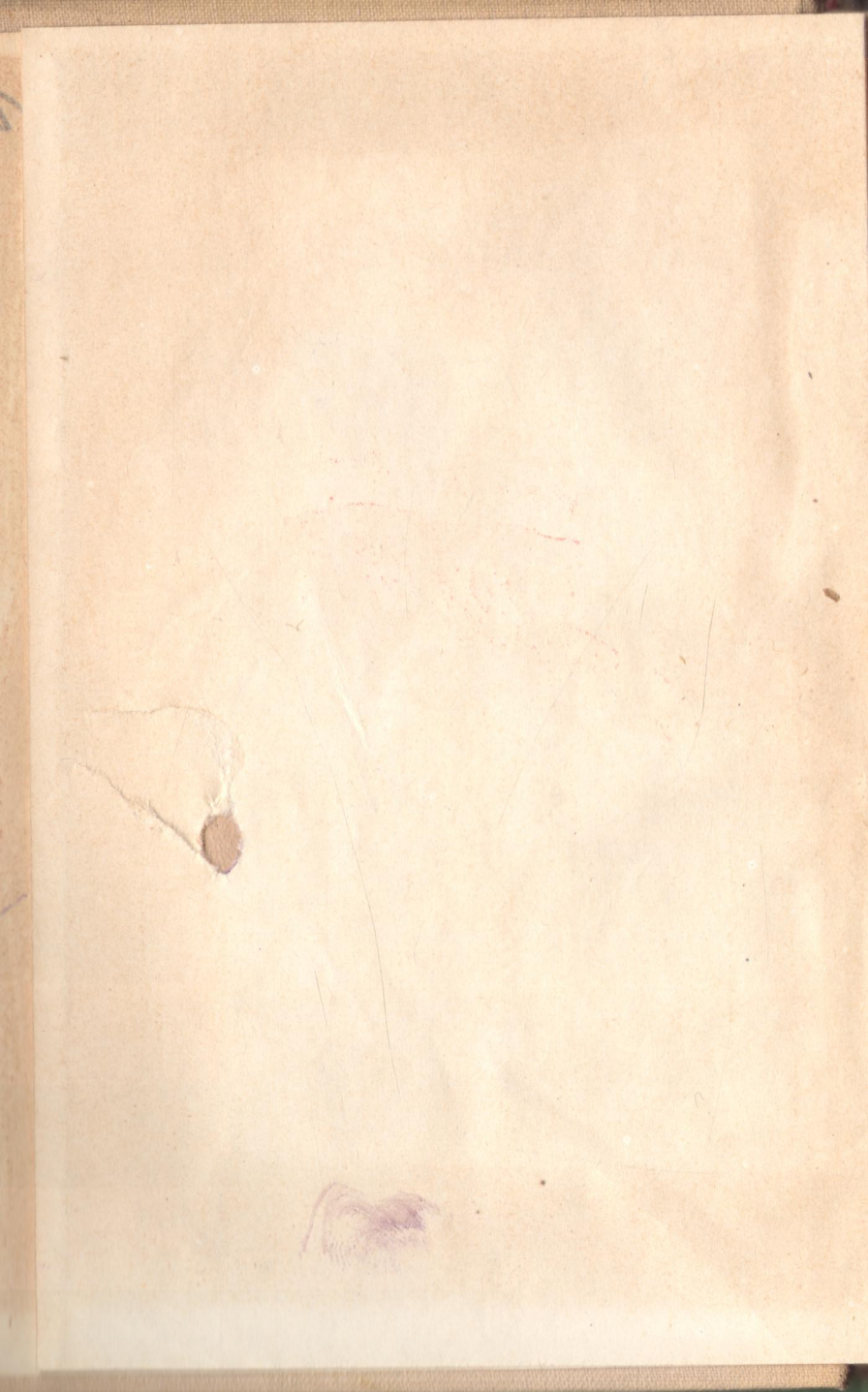
00789306

9

5

8c9 Tat





Т-233-п.

ТАТАРСКИЕ ПИСАТЕЛИ КРЫМА

ПРОВЕРЕНО
ЦНБ 1948 г.

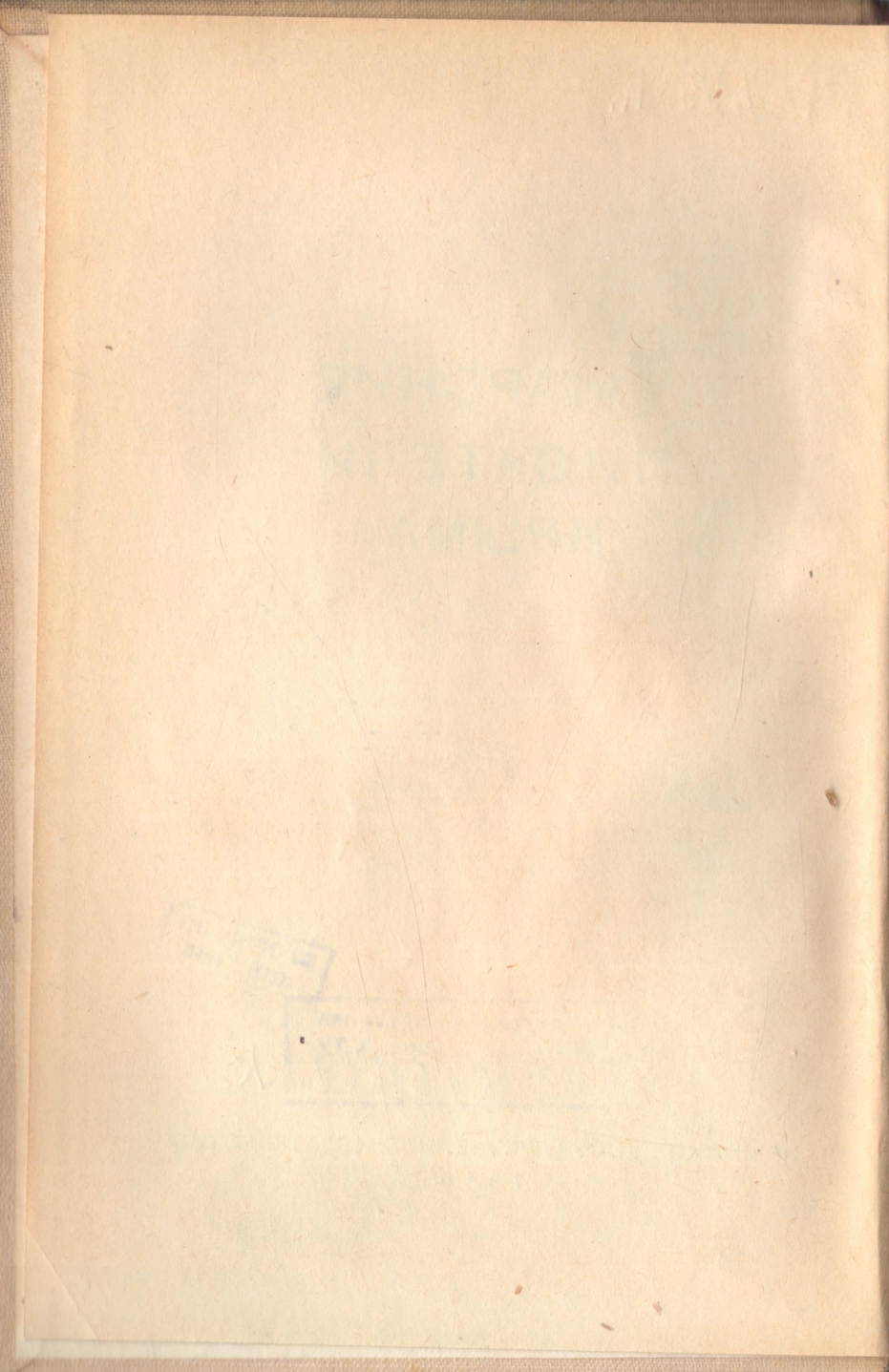
ПРОВЕРЕНО
ЦНБ 1945

Центральна Наукова
Бібліотека при ХДУ
№ 295519

КРЫМСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1940

58



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Двадцатилетие разгрома белогвардейщины и установления Советской власти Крымская Автономная Советская социалистическая республика встречает великими победами во всех областях хозяйственной и культурной жизни. За эти годы успешно развивалась молодая советская крымско-татарская литература. Настоящий сборник является первым в Крыму отдельным изданием произведений крымско-татарских писателей на русском языке. В сборник вошло далеко не все, созданное крымскими писателями за прошедшие годы. Однако и то немногое, что собрано в этом сборнике, может дать читателю, не владеющему татарским языком, представление о современной крымско-татарской литературе.

В переводах публикуемых произведений приняли участие следующие товарищи: Э. Алимов, Б. Брик, А. Булдеев, А. Быняев, Р. Вуль, И. Горелов, М. Грунин, Е. Кузнецов, С. Мандельштам, Б. Макаров, В. Петровский, Н. Тарасенко, А. Тарковский, Я. Чаличев.

С Л А В А

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

О, Сталин, глава народов,
Пусть он живет всегда!
Пусть сладостны будут хлеб его,
Соль его и вода!

Он сын великого Ленина,
Велик по-ленински он.
В бедной семье, в лачуге
Для славы он был рожден.

Пусть славится имя Сталина,—
Он счастье народу дал,
Мечты наши затаенные
Он понял и разгадал.

Если имя Сталина слышится,—
Радуетя душа.
Радостна жизнь народа,
Радостна, хороша!

Да славится имя Сталина
Долгие года!
Пусть сладостны будут хлеб его,
Соль его и вода!

Каждое слово Сталина—
Жало в сердце врага,
Не ступит по нашей родине
Вражеская нога.

Сталин—глава народов,
Брови его черны.
Сталин—глава народов,
Люди ему верны.

Только отдаст Ворошилов
Свой боевой приказ,
Пойдем на врага уверенно,
Встретимся с глазу на глаз.

Пусть славится партия Сталина!
Верные наши вожди!
Смелая партия Сталина,
К победам ты нас води!

Мне бы хотелось около Сталина побывать,
Мне бы хотелось Сталина в щеку поцеловать...

Пусть будут сладостны хлеб его,
Вино его и вода!
Пусть славится имя Сталина
На долгие года.

ЮСУФ БОЛАТ

КОПЮРЛИ-КОЙ

ОТРЫВКИ ИЗ ПЕРВОЙ ЧАСТИ РОМАНА „АЛИМ“

В первой части романа „Алим“ повествуется о детских годах знаменитого крымского народного героя Алима Азамат-оглы, жившего в первой половине XIX века.

Автор поставил перед собой задачу воссоздать в романе исторически верно образ Алима — мужественного и благородного защитника трудящихся крестьян от их эксплуататоров и царских чиновников.

I

Наступил полдень. Теплые лучи весеннего солнца отвесно упали на головы редких прохожих. На зеленоватом минарете, из темной ниши, обращенной в сторону Мекки, показался Ресуль-эфенди. Мягким тенорком он запел, призывая правоверных к обедне:

— Аллау экбер, аллау экбер!¹

И тотчас скалы, окружавшие деревню, отозвались угрюмо:

— Аллау экбер, аллау экбер...

Ресуль-эфенди передернуло. Эхо всегда портило его голос. После каждого слова зазывной молитвы ему приходилось останавливаться, выдерживать паузу, выжидать, пока умолкнет эхо. Так повторялось утром и вечером, пять раз в день, одни и те же слова, один

¹ Аллау экбер — велик бог.

и тот же замедленный голос, один и тот же назойливый двойник меж скал...

На улицах, в тесных переулках деревни стали появляться прихожане. Вскоре прихожая мечети была полна снятыми при входе разноцветными папучами, посталами. Началась обедня. Ресуль-эфенди сидел за менбером¹ и заунывно читал молитвы-наставления.

В мечети было сумрачно и тесно. Написанные на стенах изречения из корана напоминали гигантских сороконожек и пауков. Старые циновки и ковры, разостланные по мечети, издавали затхлый запах обветшалых вещей.

Не поднимая головы, Ресуль-эфенди читал наизусть суре² из корана. Тоскливо было на его душе. После необъятного простора и сверкающей зелени, открывавшихся взору с высоты минарета, эта квадратная комната с ее полумраком, тяжелым густым воздухом, привычными тусклыми лицами, его собственный монотонный голос, повторяющий тысячу раз произнесенные слова наставления и утешения о том, что за добродетель людей в сем преходящем мире их на том свете ожидает рай с молочными реками и кисельными берегами,—все это было почти невыносимо.

Мулла взглянул на молящихся. Он увидел перед собой сотни глаз, полные сосредоточенности, надежды и веры. Для них он был все: и слугой вездесущего и всевидящего, и учителем, и человеком, сведущим в мирских делах. Они прислушивались к каждому его слову и покорно с ним соглашались. Все, что он говорил, было для них законом. А Ресуль-эфенди

¹ Менбер—возвышение для муллы в мечети.

² Суре—глава корана.

считал, что он ничем не заслужил такого доверия. Он не чувствовал в себе той ревностной, безмятежной веры в деяния аллаха, которой были полны его прихожане, и уже потому не мог быть для них учителем и делиться знанием превратностей быстротекущей жизни.

Он казался себе обманщиком простых бесхитростных людей, таких доверчивых и несчастных.

Лишь один человек среди них (Ресуль-эфенди знал об этом) наблюдал за ним с подозрительной настороженностью. В будние дни Мемиш-ага под разными предлогами уклонялся от посещения мечети, но сегодня, в пятницу, как и всегда, он явился и занял свое место. Оно находилось впереди всех, прямо напротив Ресуль-эфенди. Мемиш-ага хотел подчеркнуть, что из всех жителей деревни он первый и больше всех достоин внимания. Никто не смел занять его место, опуститься на дыновку. Мечеть принадлежала богу и ему, Мемиш-ага, ибо он построил это здание для аллаха и вправе был требовать себе соответствующих почестей. Не раз намекал он Ресуль-эфенди о его святой обязанности упоминать в проповеди по пятницам имя Мемиш-ага, как благодетеля всей деревни и правоверного мусульманина, но, к великому своему огорчению, не мог добиться должного уважения со стороны муллы. Никогда из его уст не слышали имени Мемиш-ага. И постепенно в сердце мурзы закралась злоба на служителя аллаха и сосала его, и жалила как змея. Он зловеще смотрел на Ресуль-эфенди как зверь, ожидающий своего часа.

Так продолжалось не один день и не один месяц. Ресуль-эфенди и Мемиш-ага не могли смотреть друг

на друга. Каждый из них знал другого иным, нежели тот был здесь, в мечети. Мемиш-ага видел в Ресуль-эфенди своего непокорного батрака, каким он был не так давно; а Ресуль-эфенди и в мечети встречал Мемиш-ага таким же чванливым высокомерным хозяином, будто приходил тот в собственную кунацкую.

Так случилось и сейчас. Едва взгляд Ресуль-эфенди скользнул по жирному лицу толстяка Мемиш-ага, как глухое раздражение овладело им. Ему захотелось схватить позеленевший подсвечник, стоявший возле него, и пустить его меж стиснутых бровей этого своекорыстного человека с раздвоенной как чатал бородой. Ярость и ненависть сковали Ресуль-эфенди, но голос его попрежнему монотонно произносил наставления во славу аллаха, в назидание верующим. А к концу молитвы он повторил слова о божьих дарах — о жизни, о небе, встал, закрыл коран, три раза поднес его замусоленный переплет к губам и лбу, положил на столик и в сопровождении толпы направился к выходу.

Обедня кончилась.

Выйдя из мечети, Ресуль-эфенди спустился в долину в конце деревни и некоторое время задумчиво шел по обочине дороги. Он лишь на минуту остановился у своего двора, одиноко стоявшего под сенью огромных ореховых деревьев и продолжал прогулку. Мулла пересек речку и попрежнему сгорбленный, словно на спине его лежала тяжелая ноша, направился в лес. Так делал он всегда, когда бывал чем-либо омрачен. В последнее время это случалось все чаще и чаще. Лесные прогулки хотя и утомляли его, — ему перевалило за сорок и здоровьем Ресуль-

эфенди не отличался,—но они же восстанавливали его душевный покой, облегчали сном его ночное тревожное раздумье...

Густой лес раскинулся далеко кругом. Весна пробудила в нем миллионы жизней. Бархатная зелень под вековыми дубами уже разукрасилась яркими пятнами цветов. Серебряная нить ручейка извивалась в чаще. Солнечные лучи, пробившись сквозь листву, играли на его студеной воде. Веселая трель птичьих голосов заполняла каждый уголок.

Ресуль-эфенди брел по тропинкам, едва заметным в молодой траве. Он поднялся на высившуюся среди леса скалу „Асма-Кая“. Перед ним открылась живописная картина деревни Копюрли-кой. Домики с плоскими крышами громоздились один над другим. Дворы утопали в густой зелени садов. Селение по праву носило свое название Копюрли-коя—деревни с мостами. Со всех сторон ее окружали ложины и в пору ненастья только по многочисленным ветхим мосткам, перекинутым через овраги и водостоки, она поддерживала связь с внешним миром.

Наблюдатель и исследователь человеческих страданий, Ресуль-эфенди рассматривал раскинувшуюся у леса деревню, и неотступно думал о своем. На рукав его села бабочка. Он поймал ее. Бабочка билась в руке, тщетно стараясь вырваться.

„Да,—сказал себе Ресуль-эфенди,—все, даже самое малое, стремится к свободе. Каждое существо ждет не дождется, когда сбросит с себя оковы. С наступлением тепла выползают на свет насекомые, расправляют крылья птицы, деревья стремятся ввысь, поближе к солнцу, источнику всего живого. Они все свободны в действиях, как природа...“

Он разжал пальцы и бабочка легко вспорхнула к нему на грудь, пошевелила крылышками, оправилась и полетела дальше, на лужайку, где было много цветов и еще держалось дневное тепло.

Сумеречные тени колыхались над лесом. Солнце скрывалось за горой. Приближалась вечерня. Ресуль-эфенди тяжело встал с камня и напрямик пошел к деревне. У скалы, перегородившей ему путь, он увидел мальчика с котомкой на спине; мальчик с ожесточением боролся с кем-то, кувыркался, вскакивал, снова бросался на невидимого врага. Ресуль-эфенди ускорил шаги и остановился пораженный: огромная змея с красными полосками на голове, обвившись вокруг мальчика, тянула свое раздвоенное жало прямо в его лицо. Мальчик же ухватил змею за горло и сиделся оторвать ее от себя. В момент, когда Ресуль-эфенди остановился, змея и мальчик застыли, глядя друг на друга глазами, полными ненависти.

Мулла встрепенулся, вытащил из кармана маленький нож и приблизился к мальчику.

Мальчик скосил на него огненные глаза и полусердито, полупредупредительно сказал:

— Уйди, оджам, ужалит...

Собрав последние силы, мальчик снова навалился на змею. Оба замерли и несколько секунд не подавали признаков жизни. Но вот хвост змеи, обвивший грудь Алима, дрогнул, кольцо ослабло. Мальчик вскочил. Змея шевельнулась. Он крепко стал на ее голову ногой, обутой в постолы. Тело змеи вытянулось мертвое. Мальчик глубоко вздохнул и вытер рукавом пот. Он виновато потупил глаза перед зачарованным Ресуль-эфенди:

— Это та самая змея, оджам, что ужалила красную корову Мемиш-ага. Я выследил ее...

II

У самого края Копюрли-коя, на развилине лощины в домике с плоской крышей доживал свои дни старичок, у которого за спиной было больше века жизни. Он был первым поселенцем деревни. Его домик, ныне уже совсем обветшалый, был первым строением, появившимся в этих местах.

Дворик перед его домом был первым клочком земли, опоясанным здесь изгородью.

Старик был живой историей этой деревни. Если возникал какой-нибудь межевой спор, крестьяне первым долгом обращались к почтенному старику. Когда же слова его казались неубедительными, спорщики выводили старика в поле и он, собрав нити воспоминаний, показывал, где и когда поставили такую-то изгородь, откуда начинается, куда тянется, кем и от кого унаследован такой-то участок...

За последнее время старик слабел с каждым днем. Его дети, внуки, родные—многочисленный род, разбросанный по соседним деревням,—приезжали к нему прощаться. Сегодня пришел старший сын, Абдулгазы, шестидесяти лет, с длинной седой бородой. Глядя на этих стариков, нельзя было не удивиться, что один из них отец, а другой—сын. Абдулгазы оказывал всяческое почтение старику, и хотя сам уже был дедом, никогда при отце не курил и в разговоре не позволял себе вольного слова.

Безмолвный сидел Абдулгазы у постели отца, не сводя с него глаз, словно стараясь навеки запечатлеть дорогие черты. В комнате стояла многозначительная тишина. Это были минуты вечного прощания. Отец прощался с миром и с сыном, сын—

с отцом и с этой, родной ему, землей. В сердце сына с давних пор пряталось от отца одно тайное желание. Сегодня он хотел рассказать о нем..

Абдулгазы жил в деревне Бешарык, в пяти—шести верстах от Копюрли-коя. Деревня эта, окруженная густым лесом и пятью ручьями, утопала в зелени фруктовых садов. Ее называли райским уголком. Как говорили, сеющие здесь серебро, жали золото. Но это было давно. Ныне же Бешарык опустела, ее тучные земли лежали без ухода. И если старик был первым поселенцем Копюрли-коя, то Абдулгазы оказался последним жителем Бешарыка, ищущим только случая, чтобы и самому оставить ее.

Сын явился сегодня к отцу поделиться своим горем и получить благословление на отъезд в чужие края, ибо таково было его твердое намерение.

Оба старика долго молчали. Никто не хотел прервать тревожной тишины.

На дворе было еще светло. Но и дневной свет едва проникал в комнату сквозь окошки, оклеенные пергаментной бумагой. Когда последние лучи солнца погасли, в комнате сразу наступила густая темнота.

Абдулгазы давно пора было уйти, но он, соблюдая строгую почтительность к отцу, еще ни слова не сказал о беспокоившем его деле. В избу зашел Февзи, младший сын Абдулгазы (он жил с дедушкой), зажег свечку и тихо вышел. Его появление нарушило молчание и как бы разрешило Абдулгазы начать беседу. Он сказал, посмотрев со скорбью на старика:

— Благослови, отец!

Выцветшие глаза старика увлажнились. Он шевельнул губами, но слов не произнес, положил свою

маленькую легкую руку в ладони сына и покачал головой.

Абдулгазы продолжал таким тоном, словно он сожалел, что ему приходится тревожить отца перед смертью.

— На прошлой неделе в Карасубазаре обратились к мунеджиму¹. Старики говорят—дальняя нам дорога предстоит... Переселение неизбежно, отец... Наше счастье перекочевало на белую землю... Оно зовет нас за собой... Народ уходит... В Бешарыке не осталось ни души, отец... На днях, если поможет бог, и я хочу подняться...

Чем больше говорил Абдулгазы, тем влажнее становились глаза старика. Он смежил веки. Слезинки покатались по ложбинкам морщин. Он собрал последние силы, несколько раз втянул воздух и сказал еле слышно:

— Не надо, сынок, не езжай... Тут мать твоя похоронена... дети... Сердце твое будет здесь... И нигде ты не найдешь покоя... Вдали от родной земли счастья не может быть.

— Что делать, что делать, отец!.. Деревня пуста... В ней я один... Земли наши проданы. У них появился новый хозяин—генерал! Гонит... Я ему мешаю... Пять дней последних дал... или пошлет этапом... Надо убираться... В тоске мое сердце... куда я поеду, где пристану с детьми?..

Мука слышалась в голосе Абдулгазы. Он замолчал, словно ждал ответа на свой вопрос: что делать ему?

Дверь открылась. Блеснул край полной луны. В

¹ Мунеджим—предсказатель по звездам.

дверях показались три человека. Один из них—деревенский чобан Азамат-акай, два других, хотя и не родились от одной матери, удивительно походили друг на друга. Оба одинаково рослые, худощавые, с лицами, изрытыми оспой, раздвоенными бородами и черными глазами. Крестьяне прозвали их близнецами. Когда они были вместе, то откликались на это имя. А в одиночку их звали „первый“, „второй“. „Первый“ был балагуром и весельчаком. Своими шутками и прибаутками он многим доставлял утешение и возвращал надежду. Был он вместе с тем рассудителен, и это влекло к нему односельчан. „Второй“ немного говорил по-русски: общество всегда отправляло его улаживать дела с начальством.

Близнецы всегда вместе ездили в город, всегда вместе посещали русских. Из того, что говорил первый, мог переводить только второй. Каждый из них являлся как бы половиной другого.

Когда вошедшие переступили порог, старик лежал неподвижно. Взаимные приветствия заставили его очнуться. Он приоткрыл глаза и встретил улыбающееся лицо Азамат-акая. Таким оно было всегда, полное жизнерадостности. В деревне говорили об Азамат-акае: он готов радостно откликнуться зову самого Азраила.¹

Слабая улыбка скользнула по лицу старика, ею он тепло приветствовал приятных гостей.

Азамат-акай и близнецы явились к старику не только узнать о его здоровьи. Джемаат² послал их по весьма важному делу. Внезапная смерть старика

¹ Азраил—ангел смерти.

² Джемаат—общество.

могла оставить всю деревню без хлеба, лишить ее крова...

Не так давно Мемиш-ага Челебиев возобновил свои посягательства на земли Копюрли-коя и обратился в суд с прошением об утверждении его собственником этих полей, пастбищ, лесов. Это обстоятельство изрядно встревожило крестьян. Каждый из них стал искать купчие крепости на свой участок и свидетелей вступления во владение землей.

Все ходатайства и переговоры по этому поводу общество поручило близнецам. Гости степенно обо всем рассказали старику.

— Бог является свидетелем,— сказал он, вскинув веки ко лбу.

Первый из близнецов произнес:

— Да, бог свидетель всему и с помощью аллаха наше дело будет решено, как того требует справедливость. Но перед судом, когда он состоится, надо объявить о ханском ярлыке... Когда и как он был получен...

Напоминание о ярлыке вызвало в умирающем картины прошлого. Опять наступило молчание. Уполномоченные общества терпеливо ждали: от старика надо было сегодня же получить подробные сведения о ярлыке. Завтра могло быть поздно—старик мог каждую минуту покончить все счета с жизнью.

Абдулгазы решил заночевать: стало поздно; к тому же неудобно было оставлять гостей одних со стариком.

Отец, часто дыша, еле слышным голосом начал свой рассказ:

— Это случилось лет семьдесят назад. Я ходил чобаном у Аджи Рустема. В один из суровых зимних



дней на стадо напали волки и растерзали несколько ягнят... Аджи прогнал меня... Куда итти? Кое-как прожил весну. А летом собрал свой скарб и пришел сюда... Разбил шалаш. Три зимы и три лета провели мы здесь в одиночестве с покойной Пемпе... На третий год сюда переселился твой отец, Азамат. Вслед за ним стали прибывать и прибывать... Вот так населилась деревня.

Старик устал и умолк, грудь его тяжело поднималась. Затем снова послышался шопот:

— Вот так населилась деревня... Наступил десятый год нашей жизни здесь. Джемаат направил меня к хану. Со всех собрали деньги... На них купили самого лучшего скакуна. „Быстроногой“ звали лошадь... Я повел ее на байрам... Три дня ждал... На четвертый день начались бега. Их смотрел сам хан... Я стала в ряд со своей „Быстроногой“ и первым пришел к черте... Хан обратил внимание на скакуна и я передал его придворному... Наш бахшиш... Вместе с конем вручил прошение. И стали мы терпеливо ждать ханской милости... Ничего, ничего не приходило... Наконец...

Старик снова умолк. Все испуганно наклонились к нему. Пламя свечи закачалось по комнате, словно тоже испугавшись, задвигались тени. На знаки отда глазами Абдулгазы поднес к его губам кружку с водой. Старик глотнул несколько раз и продолжал:

— В тот же год, пятого мухаррема¹ явился посыльный от хана... Посыльный... с ярлыком... Земли отдал нам... сам хан... Шестьдесят лет... Вон там... в стене... возьмите... там запятан... между камней...

¹ Мухаррем—название месяца по лунному исчислению.

Глаза старика застыли, голова скатилась с подушки...

В это время в тесном дворе у изгороди двое мальчиков, озаренные блеклым светом луны, навеки скрепляли свою дружбу. Они разговаривали, тесно прижавшись друг к другу.

— Не забудь меня,—говорил Алим, сын Азаматакая.—Если вас будут там обижать, дай знать мне. Я живо соберу ребят...

— Чем ты поможешь?—хмуро отвечал Февзи, внук старика,—наша дорога очень длинная... Говорят, надо сначала ехать долго по земле, потом целый месяц по морю. Если не утонем, а все говорят—море прожорливое как страшный дэв, то опять выйдем на землю и опять будем ехать до самого конца света... Как ты доберешься туда с ребятами?.. Говорят, не многим удается дойти до той земли, куда мы отправляемся...

— А вы не уезжайте!

— Отец говорит: наше счастье туда перекочевало. И генерал гонит нас!

— А если вас начнут бить, обижать?

— Что на роду написано, того не миновать, во всем аллаха веление, а ему надо подчиняться, говорит отец.

Изумительной красоты картина расстилалась вокруг. Вершины гор, далеко уходя за горизонт, блестели под луной, по склонам и в долинах темнели леса. Над всем этим раскинулось вечернее небо, богато усеянное яркими звездами. Аромат цветения струился из каждого деревца, кустика, травки.

В прозрачном воздухе слышалась заунывная песнь о муаджирах¹. Кто-то шел далеко в степи, за грядой

¹ Муаджиры—эмигранты из Крыма.

скал и печально пел. Ребята притихли. Тоскующий голос жаловался на свою долю. Отчетливо долетали слова:

Попадем на чужбину,
Эй яр, измучаемся,
Говорю да и плачу!
Край свой родной вспомним мы,
Эй яр, умирая,
Говорю да и плачу!

У Февзи показались слезинки, задрожали на ресницах и быстро скатились к подбородку.

— Мне не хочется ехать... мне не хочется ехать... — прошептал он.

Алим сжал локоть друга.

— Достум¹, где бы ты ни был, вспомни обо мне...

Больше он не нашел никаких слов утешения. Они продолжали сидеть, прижавшись друг к другу. Гигантская луна лила холодный свет, пугая их своей величиной и таинственностью.

III

Народ в Крыму был в тревоге и замешательстве. Сотни миссионеров султанской Турции в чалмах проникали во все уголки полуострова и в душу западающими словами уговаривали ехать „на белую землю“, обещая всем неиссякаемую султанскую милость. Повсюду турецкие миссионеры имели старательных помощников — мурзаков, пришлых помещиков, ага и баев, которые ждали момента, когда, наконец, крестьяне оставят эту щедрую землю, чтобы захватить ее в свои руки. Там, где беднота делала это не быстро,

¹ Достум — дружок.

ее попросту прогоняли. И вот, истинные хозяева земли, не имея другого выхода, оставляли насиженные места, орошая слезами дорогу. Со всех деревень, сел и городов, как поток, устремлялся народ к морю и жил там под открытым небом, ожидая „кораблей спасения“.

Многие деревни приняли вид жалкий и отвратительный. Они казались заброшенными кладбищами с полуразрушенными надгробными постройками. Только вой собак, да дикий крик филинов разносился кругом. В покосившихся домах бродили одичалые кошки.

Последние жители Бешарыка—семья Абдулгазы вечером покинула деревню. Февзи вел волов, Шерифе-татай¹ и дочь Гульсум брели за скрипучей мажарой, доверху груженной домашними вещами и хозяйственной утварью. Сам Абдулгазы шел сбоку, неся на себе большой узел.

Все молчали, никто не осмеливался произнести даже слово: это казалось святотатством. Когда дошли до кладбища, солнце скрылось. Остановили мажару. Абдулгазы, сбросив узел, подошел к могиле у самой ограды: здесь лежал его старший сын. К нему присоединилась Шерифе-татай. Абдулгазы сел, склонился над холмиком, голова его вдруг упала на землю и он заплакал горько и протяжно, как ребенок... Однако он скоро заставил себя сдержаться, три раза поцеловал землю, поднялся и возвратился к мажаре.

Шерифе-татай долго не могла оторваться от могилы. Она плакала навзрыд, захлебываясь слезами. И даже утихнув, она долго вздрагивала, простершись

Татай—тетушка.

над могилой. Никто не тревожил ее. Наконец встала и она, в память о любимом сыне взяла пригоршню земли и спрятала в платок.

Гульсум и Февзи всплакнули вместе со стариками, но очень скоро вытерли слезы.

Мажара двинулась. На вершине подъема семья в последний раз обернулась к родной деревне. Там не светилося ни единого огонька...

И потянулась длинная дорога. Теперь слышались только громкий скрип мажары и грузные шаги волов. За всем этим стояла мертвая тишина. Зачерненные темнотой кусты вдоль дороги прятали ночные шорохи.

Мажара миновала кустарник и въехала в густой дубняк. Темнота сгустилась, исчезли звезды. Через некоторое время послышалось журчание речки. Волы вдруг замерли. Вода была глубока. Сесть на мажару не представлялось возможным. Абдулгазы и Февзи развязали посталы и приподняли брюки, Шерифе-татай и Гульсум сняли папучи. Волы осторожно ступили в воду и повлекли мажару. Она перестала скрипеть. Быстрая вода журчала в ступице колес. Проехали речку и снова раздался однообразный скрип дерева о дерево, далеко слышный в тишине леса. Лес поредел, проглянули звезды.

Абдулгазы отстал от повозки и подождал медленно шедшую Шерифе-татай.

— На заре будет дождь,—сказал он.

Шерифе-татай ничего не ответила. Все казалось ей чужим и ненужным. Обильные слезы застилали ее глаза.

— До зари надо доехать до большой дороги. В кофейне отдохнем,—продолжал Абдулгазы.

В это время зашуршали кусты и из них раздался крик.

— Февзи, это вы?

Февзи сразу узнал друга.

— Алим! Выходи!

Раздвинулись кусты, с котомкой на спине показался Алим.

— Здравствуйте. Счастливого пути,—сказал он всем и пошел рядом с Февзи.

Февзи радостно схватил его за руку:

— Я думал, что не увижу больше никого...

Алим улыбнулся:

— Я был в Бешарыке, увидел, дом ваш пуст, и напрямик по лесу нагнал вас.

Февзи не знал, как отблагодарить друга. Он сунул руку в карман шаровар и вытянул перочинный нож. Протянув его Алиму, Февзи сказал:

— Возьми, друг, на память от меня.

Алим с минуту колебался. Если откажешь—обидишь, а согласишься—оставишь друга без такой драгоценности, как нож. Как без него обойтись в дороге?! Февзи хотел пожертвовать слишком многим...

— Бери, Алим, я очень прошу, мне не нужен...

Алим отвязал от пояса свой нож с ножнами и протянув, сказал:

— Тогда ты возьми этот. Пусть будет у обоих память...

Февзи ничего не сказал. Что может быть ценнее памяти друга?!

Сдерживая тяжелую мажару, крепко упираясь ногами, волы спускались по отлогому скату. Спуск быстро кончился, снова начался подъем, на этот раз круче оставленных позади. Волы, напряжась, тянули

груз вверх. Абдулгазы и Алим пришли им на подмогу. Когда добрались до второго поворота, особенно крутого, волю окончательно обессилили. Мажара подалась назад. Абдулгазы подставил под нее спину и крикнул:

— Алим, подложи камни!

Дорога ползла по высокому косогору, на который волю не в силах были вытянуть повозку. Сколько ни билась вся семья, мажара не тронулась с места. Поневоле пришлось сделать небольшой привал. Но грозные тучи, закрывшие небо, все сгущались, вот, вот готов был хлынуть ливень. Это беспокоило Абдулгазы. В такое время года ливень в горах очень опасен.

Спереди донеслись чьи-то голоса. Ободренная ими семья Абдулгазы еще раз напрягла силы. Шеи по-нукаемых волов вздулись, их морды припали к самой земле. Мажара слегка качнулась и тронулась. Через некоторое время Февзи увидел людей. Это оказались тоже переселенцы. Семья из пяти—шести душ стояла в ожидании, пока вол в упряжке с коровой сдвинут мажару, еще большую, чем у Абдулгазы.

Не долго думая, сын первого поселенца Копюрликоя распряг своих рогатых, привел их к передней мажаре и быстро подтащил ее к вершине перевала. Столь же быстро четыре животных доставили туда скарб Абдулгазы.

Отсюда удобная дорога вела до самого почтового тракта. Все разместились по своим местам. Из тьмы слышались предвестники утренней зари—запели петухи.

Предсказание Абдулгазы все же сбылось: подул свежий ветер, поднялась пыль на дороге. Яркая мол-

ния рассекла черное небо. Над головой оглушительно ударил гром, заставив всех сбиться в кучу. Через несколько минут полил дождь, на дороге закружились быстрые холодные ручьи.

IV

После смерти старика необходимо было достать ярлык из стены, но старейшие поселяне деревни — хранители обычаев — сочли спешку за непочтение к свежей памяти усопшего и признали необходимым подождать некоторое время.

Дни прошли быстро. Давно наступила пора представить в суд подробные доказательства по делу, поднятому Мемиш-ага. Отсутствие ярлыка могло свести на-нет все остальные официальные доводы крестьян против захватчика. Наконец, в четверг Азамат-акай и близнецы явились за советом к единственному сведущему человеку в деревне, к Ресуль-эфенди.

Мулла недавно вернулся из города и лежал, растянувшись на софе. Он был в хорошем настроении. Разговор с муфти хотя и не рассеял его сомнений, однако, одно то, что нашелся человек, которому он смело открыл душу, до некоторой степени успокоило Ресуль-эфенди и даже вселило какие-то надежды. Ресуль-эфенди до сего времени ни разу ни с кем не говорил так откровенно о своих сомнениях, ибо он не находил никого достойного. Но муфти слушал его с великим вниманием, ни разу не прервал его, и у Ресуль-эфенди невольно развязался язык.

Муфти сделал несколько замечаний к некоторым основам ислама и доверительно сообщил Ресуль-эфенди, чем тот был польщен чрезвычайно, что он уже от многих слышал о низких деяниях кадия Сеит-

Мамут - эфенди, в корыстных целях совершающего несовместимые с религией и шариатом поступки. Такие подлецы, сказал муфти, должны быть изгнаны из среды духовенства, они оскверняют святой ислам. При прощании муфти поделился с Ресуль-эфенди своими планами, сказав, что на днях собирается в Карасубазар и попутно заедет в Копюрли-кой, где и побеседует более подробно с Ресуль-эфенди. А в конце этой запомнившейся беседы высокопоставленное духовное лицо, узнав, что Ресуль-эфенди пришел к нему пешком, отправил его в Карасубазар специально запряженной для него подводой.

Такой чести Ресуль-эфенди был удостоен впервые. Всю дорогу он только и думал о чуткости и душевности муфтия. Это занимало его и сейчас, во время отдыха.

Вот почему первые его слова к Азамат-акаю и близнецам, как только они поздоровались, были слова, теснившие ему грудь:

— К нам приедет сам муфти!

Близнецы искренне обрадовались этому. Второй из них воскликнул:

— Как раз кстати!

Но Азамат-акай отнесся к сообщению совсем холодно.

— Он приезжал уже однажды, лет пять назад. А какой был толк? Вовсе не мы ему нужны. Приедет, побудет у Мемиш-ага, отведаст его кухню и укатит обратно...

Азамат-акай задел Ресуль-эфенди и хотя он не любил хвастать, все же сказал:

— Муфти-эфенди приедет ко мне...

Крестьяне пристально посмотрели на Ресуль-эфен-

ди. Этим взглядом они как будто хотели сказать: вон оно что! И наш Ресуль-эфенди становится важной персоной! Они всегда по-особенному уважали и почитали Ресуль-эфенди, как своего человека, и то, что он еще не добрался до высокого поста, объясняли только тем, что такая уж его судьба. Теперь счастье как будто повернулось к нему! Оставалось пожелать ему всяческих успехов...

Ресуль-эфенди добавил:

— Этот не похож на остальных... Вы увидите. Вот придет, все соберемся, посоветуемся, кстати, он вникнет и в земельную тяжбу. Пусть Мемиш-ага подкупает судей, это ничего, в конце концов, с такими людьми, как мұфти-эфенди справедливость восторжествует!

Затем мулла с довольной улыбкой обратился к Азамат-акаю.

— Алиму тоже повезло! Ему выделяют средства из вакуфа¹ для получения образования в Стамбуле...

Это была поистине неожиданная и волнующая весть. Глаза Азамат-акая загорелись. Он схватил руки Ресуль-эфенди.

— Большое вам спасибо, Ресуль-эфенди, вы действительно его покровитель.

Ресуль-эфенди продолжал тем же довольным тоном:

— Пусть учится. Ему нужно учиться! Он будет большим человеком, или, не находя приложения своим силам, начнет сеять кругом страх. Его сердце вечно беспокойно, ум же бурен как море осенью. Он способный и ему нужно образование. Только не в

¹ Вакуф — мечетная собственность.

медресе¹—такие сохтой² не бывают.... Пусть едет в Стамбул, там много ученых, а я дам письмо к моему знакомому, он поможет Алиму...

Азамат-акай вскочил, не зная как поблагодарить этого добродетельного человека, и снова схватил его руки.

— Как вам будет угодно, так и поступайте,— произнес он.—Ни мы, ни наши отцы не знали ничего, может быть хоть сыновья станут настоящими людьми...

Тронутый искренностью этих слов, Ресуль-эфенди открыл дверцы ниши в стене и, порывшись в книгах с кожаными переплетами, выбрал одну из них и протянул Азамату.

— Передайте ее Алиму,—сказал он,—это „Гулистан“ знаменитого иранского поэта Саади. А скоро мы снова с Алимом заниматься.

Затем Ресуль-эфенди обратился к близнецам:

— Ну, как судебные дела? Представитель земского суда не показывался?

Первый из близнецов сказал:

— Нет. Там составили... как ее... комиссию посредническую, чтоб уладить спор. Нас еще не спрашивали. Да и не много толку будет, даже если спросят... Раньше, чем подумать о нас, они удовлетворят жалобу Мемиш-ага. Он каждый день ездит в Карасубазар. Теперь он, наверное, прибрал там всех к рукам. Грозная опасность нависла над нами. Мы останемся без хлеба и без крыши над головами. Мы не придаем значения уловкам Мемиш-ага и чего-то ждем,

¹ Медресе—духовная высшая школа.

² Сохта—студент медресе.

забыв, что хной красятся к празднику. В открытый рот попадет огонь... Нам уже горячо. Мемиш-ага мало того, что он уже утащил, он хочет стать еще хозяином над всеми нами. И станет, если аллах допустит это... Но как сделать, чтобы этот негодий сам попал в яму, которую он роет для общества? Досточтимый Ресуль-эфенди! Нам нужен человек, чтобы учил нас! Нам нужен поводырь! И мы пришли к вам... просить вас...

Глубокое раздумье охватило Ресуль-эфенди. Что делать несчастным? До беды в самом деле недалеко. Можно было не сомневаться, Мемиш-ага добьется своего и заставит крестьян расстаться со своим добром.

Хорошего настроения как не было. Сердце встревожилось и наполнилось гневом на всеобщего обидчика и притеснителя.

И он стал упорно думать, что же предпринять, чтобы расстроить козни этого безжалостного человека...

Второй из близнецов, как бы отвечая ему, спросил:

— Не окажет ли нам свою помощь муфти-эфенди?

— Да, да,—горячо откликнулся мулла,—надо немного подождать. Он приедет и совместно с ним мы что-нибудь придумаем.

И уже весь во власти желания осилить грозного поработителя деревни и своего личного врага, Ресуль-эфенди спросил:

— Много ли таких, у которых нет купчих крепостей?

— Аллах его ведает,—сказал второй из близнецов.— Да их, наверное, потеряли и те, что имели.

Вмешался Азамат-акай и с горечью сказал:

— Виданное ли дело, чтобы на собственную землю иметь купчую крепость. У нас, татар, такого обычая никогда не было! Отцы и деды наши владели этой землей без всяких бумаг. Даже когда случалось продать или купить землю, со всякими там бумагами вовсе не считались. Было слово у людей. Это теперь мода на бумаги...—И разгорячившись от обиды, переполнившей сердце, Азамат-акай, не сдержавшись, закричал:

— Но дает ли это право Мемиш-ага захватывать наши земли?! Разве это справедливо?!

Никто не удивился его крику.

— Без документов нам будет трудноато отстаивать,—задумчиво сказал Ресуль-эфенди.

Азамат-акай продолжал с отчаянием в голосе:

— Но ведь таких документов у Мемиш-ага тоже нет!

— Он найдет...

Эти слова так и резанули всех. Этого можно было ожидать. Различными махинациями Мемиш-ага уже сумел захватить землю нескольких крестьян и превратить их в издольщиков. А другие, сильно задолжав ему, были накануне полного закабаления.

Второй из близнецов в смятении сказал:

— Да, он найдет!! Этому можно поверить! Боже, сохрани нас от насилия этого злого человека. Ресуль-эфенди, укажите нам путь, дайте нам совет! Вы ученый, мы вам верим!.. Мы собираем все старые документы... Завтра мы хотим разобрать стену, где должен быть ярлык, аллах да простит нас, ведь со дня смерти старика уже прошло десять дней!..

Узнав, что эта важная бумага находится еще не на руках, Ресуль-эфенди забеспокоился.

— Надо скорее забрать ярлык из стены. Завтра же! Мы сделаем это перед членами комиссии, они засвидетельствуют нахождение ярлыка. Это нельзя откладывать! Не охраняемое добро едят черви... Сегодня же вечером отправимся в Карасубазар за комиссией. Нужна подвода.

Крестьяне переглянулись. Хотя в деревне и имелись лошади, но ни фартона, ни даже крытой линейки не нашлось бы. Ресуль-эфенди вспомнил об экипаже, виденном им во дворе муфти. Он сказал:

— Хорошо, сами пойдем пешком, а для комиссии найдем подводу...

Он достал из шкафа красный платок, в один угол которого были завернуты деньги. Все встали. Ресуль-эфенди и близнецы тотчас же отправились в путь. Когда они вышли на почтовую дорогу, был уже вечер. Ресуль-эфенди взглянул на небо: близилась ночь темная, без луны, без звезд...

* * *

Возвратившись домой, Азамат-акай спросил у жены Кериме:

— Где Алим? Он еще не вернулся?

Кериме-татай, стараясь спрятать слезы, ответила:

— Нет еще.

И не выдержав, запричитала:

— Где он, мой ненаглядный сынок, куда подевался он, мой мальчик.

Уже три дня прошло, как исчез Алим. Всех спрашивала о нем, но никто ничего не знал. Чего только не передумала за эти три дня и три ночи Кериме-татай! Она даже сама пугалась своих мыслей. Резвость Алима всегда доставляла ей тревогу. Ей казалось, что он упал в колодец или его ударила

Молния в ливень, прошедший недавно, или он погиб в бурных потоках... С усилием отогнав свои страхи, Кериме-татай усердно помолилась, но сердце ее так и не успокоилось.

— Алим не пропадет, — успокаивал Азамат-акай жену. — Мальчик не из таких...

Чтобы отвлечь жену от тягостных размышлений, он принялся рассказывать:

— Сегодня Ресуль-эфенди вернулся из города. Он беседовал с самим муфти-эфенди!... Слушай, жена, осенью Алима отправят в Стамбул учиться. Вот оно, счастье! Какому бедняку выпало такое! Не плачь, а радуйся...

Но Кериме-татай сказала:

— Пусть бы он хоть теперь вернулся домой.

Азамат-акай показал ей книгу — подарок муллы — и заметил:

— Какой добряк этот Ресуль-эфенди!

Этим закончился разговор мужа с женой.

На следующий день, едва только лучи солнца коснулись голых верхушек гор, Азамат-акай уже выгнал стадо на пастбище. У разветвленного оврага он остановился от изумления: домик старика был почти разрушен, одна стена его совсем обвалилась.

Азамат-акай, оставив стадо, побежал в деревню. Вместе с несколькими крестьянами он тотчас вернулся к избушке и усердно стал копаться в мусоре, разыскивая ярлык. Бумаги нигде не было...

Часам к девяти утра прибыла комиссия и вместе с ней Ресуль-эфенди и близнецы. Уже около десяти крестьян с лопатами и кирками разворачивали обломки избушки, но безуспешно.

Азамат-акай высказал подозрение:

— Избушка и стена были крепки и сами не могли упасть. Здесь не обошлось без человеческих рук...

Один из близнецов добавил:

— Покойный, дай ему, господи, успокоение на том свете, был всегда правдивым человеком. Он не мог говорить неправду...

У избушки появился тучный Мемеш-ага. Он спросил, едва скрывая улыбку:

— Клад, что ли, вы ищите здесь?

Обернувшись к членам комиссии и поздоровался с ними, как равный с равными.

— Пойдемте, гости, в дом, вы, наверное, устали.

Члены комиссии покорно пошли за Мемеш-ага. Крестьяне, изумленно смотрели вслед уходящим. Ресуль-эфенди, опустив голову, ковырял носком башмака рыхлый камень избушки.

V

Родную деревню Алим увидел еще издали. Она показалась ему разбредшимся стадом овец. Он направился к ней напрямик, через густые заросли, дикие скалы и высохшие овраги.

Алим возвращался усталый. Со лба и посеревших от пыли висков катился пот. Рубаха из домотканного холста намокла и больно терла кожу. В изношенные посталы то и дело забивались камешки, доставляя ему немало хлопот: он часто останавливался и переобувался.

Наконец он достиг Сувлудере, родника в начале деревни. Здесь он снял рубаху, разулся, остыл, отдохнул, умылся холодной водой.

Во время своего путешествия Алим ни на минуту не забывал о родителях, но ни разу не подумал, как

они отнесутся к его поступку. Только теперь забота об этом охватила его. Ни отец, ни тем более мать ругать его не будут, он знал это хорошо, но даже их укор был бы для него тяжелым наказанием.

Сейчас Алим пожалел, что ушел, не спрося, но, думал он, если бы спросил, ему никогда не разрешили бы такую прогулку...

Его опасения были напрасны. Мать, увидев любимого сына, крепко прижала его к груди, осыпала поцелуями. Тотчас подогретые чебуреки, специально оставленные для него, и целое блюдо сливок появились на столе. И только тогда, когда он насытился, она спросила:

— Где же ты был, Алим?

— Провожал Февзи и его родителей, был в Кафе, мамочка. Я боялся, что не отпустите, потому и ушел сам...

— Ну, ничего, сынок, в следующий раз уйдешь, спросив,— сказала мать и поцеловала его в лоб.

После еды Алим совсем забыл об усталости. Он решил навестить сестру. Предупредив мать, он исчез за калиткой.

Кериме-татай крикнула ему вслед:

— Смотри, сынок, не попадайся на глаза Мемиш-ага!

Алим очень дружил с сестрой Мерьем. Но с тех пор, как месяцев пять назад ее взял в услужение Мемиш-ага, они встречались редко и скрытно. Мемиш-ага не любил, когда кто-нибудь приходил к Мерьем, даже мать. Домой он отпускал ее только по пятницам.

Долго не хотелось Азамат-акаю отдавать свою дочь в служанки, но что поделаешь? Мемиш-ага заставил. Дочь пришлось послать в дом Мемиш-ага. Были на

селе и другие девушки, желавшие попасть в светлые комнаты мурзы, но Мемиш-ага твердил только одно: Мерьем и Мерьем. Почему? Этого не могли понять ни Алим, ни его отец. Только одна мать о чем-то смутно догадывалась и то и дело вздыхала при упоминании о дочери.

Подойдя к воротам обширной усадьбы Мемиш-ага, Алим спрятался и стал ожидать появления сестры на балконе. Сестра долго не показывалась. Алим пробрался к конюшням и, убедившись, что во дворе никого нет, перескочил через забор и осторожно заглянул в крайнюю избушку, служившую кухней.

Мерьем сидела одна, нагнув голову. Алим подкрался сзади. Сестра ничего не слышала. Он руками закрыл ей глаза и, подражая Мемиш-ага, грубым голосом крикнул:

— Что ты загрустила, Мерьем-шерифе!..¹

С молниеносной быстротой Мерьем вскочила, вскрикнув:

— Ах!

Алим хотел от души посмеяться над испугом сестры, но увидев ее лицо, он отступил в смятении. Это была не та Мерьем, с которой он смеялся несколько дней назад! Перед ним стояла девушка с синяками на лице, острыми скулами, бездонными страдальческими глазами. Ничего, кроме родственной теплоты, не было в этой девушке от его сестры, от его Мерьем....

Не веря своим глазам, Алим прошептал:

— Мерьем, дорогая моя сестричка...

¹ Шерифе—сестра, девица.

Мерьем с трудом пришла в себя:

— Я тебя действительно приняла за Мемеш-ага... — сказала она, запинаясь, опустилась на пол и горько заплакала.

Алим испуганно спросил:

— Что с тобой, что случилось, сестричка, скажи что случилось?

Мерьем забилась в истерике. Алим сам готов был разрыдаться.

— Скажи, сестричка, кто тебя обидел? — твердил он.

Сестра подняла голову, посмотрела на брата и умоляюще заговорила:

— Скажи, брат, скажи отцу, пусть заберет меня отсюда... Мочи моей нет... Вчера ночью Мемеш-ага...

Мерьем больше ничего не сказала, сжалась в комок, окоченела. И глядя на нее, Алим понял, что над сестрой совершили что-то ужасное... Неподвижный, он, не отрываясь, смотрел на Мерьем. Кто-то вошел, раздались голоса. Он никого не видел и ничего не слышал. Вдруг порывисто вскочил, кого-то толкнул, что-то опрокинул, стрелой вылетел из комнаты, понесся по деревне. Без дороги бежал он через овраги, холмы, поля... В его ушах беспрестанно звенел плач сестры...

Еле дыша, обливаясь потом, он добежал до стада.

Азамат-акай отдыхал под кустом. Сына он заметил давно и, любуясь, наблюдал за его приближением. Он не удивился тому, что Алим несся так стремительно: Алим не умел ходить шагом.

Мальчик подбежал к отцу, хотел что-то сказать, губы его шевелились, но слов не было. Азамат-акай почувал недоброе, он приподнял куман¹ с водой и

¹ Куман — глиняный кувшин.

поднес ко рту Алима. Тот сделал несколько глотков.

— Что случилось, сынок?

Грудь Алима судорожно колыхалась, лицо было мокро, он весь дрожал. Плачущим голосом он крикнул:

— Отец, отец! Я был у Мерьем... Она плачет... Она страшная... Она просит забрать ее домой...

Азамат-акая пронзила ужасная догадка. В доме Мемиш-ага все могло случиться...

— Что с ней такое, Алим, что?

— Она сказала—Мемиш-ага вчера ночью пристал к ней...

Азамат-акай был потрясен. Он схватил Алима за плечи, притянул к себе, дико посмотрел в его глаза, оттолкнул, рванулся к кустам, где валялся большой кол, и, сжав его в руке, решительными, широкими шагами направился к деревне. Алим, радуясь гневу отца, пустился за ним.

— Его дома не было,—сказал он срывающимся голосом.

Это было верно. Рано утром, когда Азамат-акай выгонял скот на пастбище, он встретил Мемиш-ага у оврага. Как всегда, тот заорал на Азамат-акая, пригрозив, что взамен коровы, ужаленной змеей, заберет корову Азамат-акая. Хотя несчастье произошло давно, хотя все общество просило толстяка простить невинного чобана, Челебиев стоял на своем. Сегодня он хотел увести корову... Он придет сюда...

— Хорошо, сынок, мы встретим его здесь,—Азамат-акай дрожащей рукой погладил Алима и, опустив голову, принялся расхаживать по широкой поляне.

Они не проронили больше ни слова. Отец изредка поглядывал на сына. Мальчик во многом походил

на сестру. Те же черные брови, большие темные глаза, прямой нос, на щеках у обоих следы оспы. Но лоб у Алима шире и волосы не каштановые, как у девушки, а иссиня-черные и кудрявые.

Солнце начало крениться к далекой горе, терять свою дневную силу. Тени кустов удлиннились. Уже наступило время гнать стадо обратно в деревню, но Азамат-акай все ходил и ходил. Алим на всякий случай собрал около себя кучу камней; отец посмотрел на него косо, как бы говоря: „не надо“.

Вдруг на горке появилась голова лошади. Ее тень подползла к ногам Алима. Мемиш-ага на вороном коне в сопровождении Корали быстро приближался к стаду.

Азамат-акай не стал ждать, он направился навстречу всадникам. Мемиш-ага сразу заорал:

— Покажи-ка, где твоя корова, Корали погонит ее в мой двор!

Азамат-акай со зловещей безмолвностью подошел к лошади, схватил ее за узду и, стиснув кол, крикнул:

— Сволочь! Что ты сделал с моей дочерью?

С этими словами он наотмашь взмахнул колом и ударил Мемиш-ага в плечо. Следующий удар он метил в голову, но кол повис в воздухе: Корали схватил Азамат-акай сзади. Послышался свист плетки Мемиш-ага со свинцовым шариком на конце. Как острый нож, она просекла лицо Азамат-акай, оставляя кровавый след. Плетка несколько раз покружилась над чобаном. Азамат-акай схватился за лицо:

— Ой, глаз!

Алим в оцепенении смотрел на отца, корчившегося на земле. Торжествующий Мемиш-ага высился над

ним. Слезы заблестели на ресницах Алима и упали на босые ноги. Задрожав в иступлении, Алим отступил на несколько шагов, хищно бросился вперед и вмиг очутился на крупе лошади. С недетской силой он вонзил зубы в толстую жирную шею Мемиш-ага и ногтями рвал в кровь его лицо. Мемиш-ага метался, крича и воя, и безуспешно старался сбросить Алима. Лошадь испугалась и понесла седоков в открытую степь. Мемиш-ага удалось, наконец, ухватиться за мальчика. Но в этот момент лошадь прыгнула через канаву и оба свалились на землю.

Алим больно укусил своего врага за руку, освободился и побежал к отцу. Мемиш-ага продолжал кувыркаться в траве, крича и ругаясь. Корали погнался за лошадью...

Спустились сумерки. Стадо побрело в деревню, за все тридцать лет службы Азамат-акая в первый раз без чобана...

ШАМИЛЬ АЛЯДИН

ПЕРЕКОП

Трясет в лихорадке седой Перекоп
И воздух от гула снарядов дрожит.
Угаром и плесенью дышит окоп,
Красноармеец в окопе лежит.

Оставил детей он и кров без огня,
Бесстрашный буденновец Абдулгазы,
Простился с родными, пришпорил коня,
И—степь закачалась, как мертвая зыбь.

Сквозь ливень холодный,
сквозь ветер и тьму
Спешил он к друзьям,
хоть устал и продрог.

А Врангеля пушки грохочут в дыму
На всех перекрестках разбитых дорог.

— Огонь по врагу!—приказал командир,
И яростной дробью стучит пулемет...
Боец прижимает винтовку к груди
И видит, как в пламени утро встает.

Всю ночь прострелял он, глаза не смежив,
Проверил подсумок—последний патрон,
Соседа окликнул:

— Браток, одолжи!

И холод смертельный почувствовал он.

— Друзья, не горюйте, не плачьте,
друзья!—

Сказал он,—исполнен приказ боевой.

Я честно сражался за наши края

И честно умру за народ трудовой.

Остался боец недвижим на земле...

С рассветом буденновцы ринулись в Крым,

И сумрачно солнце светилось во мгле,

Безмолвно прощаясь с бойцом молодым.

Я В АРМИЮ ИДУ

За Ай-Петри зашел окровавленный диск,

Все умолкло и мрак на равнине залег,

Только тополь стоит, как живой обелиск,

Да из сакли одной чуть блестит огонек.

На узорной софре¹ остывает долма,²

Молодого Нафе ожидает очаг.

Над татарским селом опускается тьма,

И заметна печаль в материнских очах.

Над безлюдной Яйлой засиял небосклон.

¹ Софра—скатерть.

² Долма—кушанье из овощей.

Едет с поля Нафе, выключает мотор:
Заготовив бензин, умывается он
И приветствует мать и любимых сестер.
— Поскорее бы, мать, день отъезда настал!
Захватив сундучок, я вскочил бы в вагон,
Я бы кепку свою капитанармусу сдал
И надвинул бы шлем, что звездой обагрен.
Брат погиб на войне, самодержца кляня,
Но иное теперь, ты не плачь надо мной:
Красной Армии клич призывает меня,
Потому что я муж и джигит удалой.
А когда по стране загрохочет приказ,
И война устремится к границам родным,
Мы коней боевых оседлаем тотчас
И, клинками блестя, на врага полетим.
Не грусти, моя мать! Годы мчатся стрелой,
И когда-нибудь к вам постучусь поутру...
И скажите Гульсум, что, вернувшись домой,
Я на свадьбу свою всех друзей соберу!

ЭЛЬПИДЭ

С теплоходного трапа кричу тебе вниз,
Самой стройной из здешних гречанок:
— Через год мы увидимся, славная кыз¹,
В Кобулетах, любовью венчанных.
„Знак Зерро“ мы смотрели, и в черных очах
Молодое сияло безумье,
И шептала ты мне: „Оставайся, крымчак,
Оставайся со мною в Батуми“.

¹ Кыз—девушка.

На прощанье махнула ты белым платком,
И глаза, отражая заботу,
Говорили, что встанешь ты с первым гудком
И, смеясь, поспешишь на работу.
Я в руке своей руку твою задержал,
С теплоходом твой край покидая...
— Подожди только год,—и в колхозный Аджар
Я вернусь, Эльпидэ молодая!

ЖИЗНЬ

Поздней ночью, когда я заканчивал стих,
Мимо окон скользнула зловещая тень.
„Это смерть“,—я подумал и, вздрогнув, притих.
Рассветало. Яснел наступающий день.
Зеркала мне напомнили: „Ты уже сед“.
Я очнулся и словно кого-то спросил:
„Если старость нигде не теряет твой след,
Если смерть,—то к чему ты работал и жил?“
Я озлился на старость и гневно сказал:
„Разве мало тебе, что в земле моя мать,
Что старик—мой отец—постоянно в слезах;
Эти жгучие слезы ничем не унять“.
Возбужденный, я громко хотел закричать:
„Неужели для смерти рожден человек?“
Но вокруг было тихо: купаясь в лучах
За окном мой ребенок играл на траве.
Призрак ночи исчез, не явившись за мной,
Только солнечный зайчик плясал на стене.
Видно мозг мой устал от работы ночной,
И кошмарная тень примерещилась мне.

Успокоясь, вернулся я к мыслям своим
И подумал: „Без горя и радости нет;
Час веселья едва ли для нас уловим,
Если грусть перед тем не оставила след.
Вдохновение, творчество, честный твой труд—
Вот всего сокровенный и радостный смысл,
Лишь они тебе счастье и мир принесут...“
И сказал я пугливому сердцу: „Уймись!“
Я приветствовал день, как желанную весть,
И цветы, для которых ничто умереть,—
Им дано перед смертью так ярко процвести,
Что огонь их в глазах будет вечно гореть.
Я сказал себе: „То, что ты создал, измерь:
Если труд твой весом, ничего не страшись,
И без страха и трепета встретишь ты смерть,
Утверждением которой является жизнь“.



ОСМАН АМИТ

ОТЧИЗНА

Светлый вечер. В сиреневой дымке простор.
Я как птица взорлил над вершинами гор,
Всю страну оглядел мой ликующий взор,
И горячее сердце наполнил восторг,—
Как прекрасна отчизна моя!

Я парил... Подо мной дивный город блистал,
Это яркие звезды рождал Днипрельстан,
Как воспеть его!—бледен и стих и дестан¹
Здравствуй родина роз—мой родной гулистан²,
Как прекрасна отчизна моя!

Безграничное море, густая тайга,
Черноземная степь, заливные луга,
Виноградники Крыма, Казбека снега—
Это наше, товарищ, с тобой на века,—
Как прекрасна отчизна моя!

Каждый день мой—весна! Жизнь радует нас.
Лепестками цветов вся долина зажглась,

¹ Дестан—поэма.

² Гулистан—страна роз.

Стайкой гуси плывут, опереньем искрясь,
Пой об этом сильнее, мой взволнованный саз¹,—
Как прекрасна отчизна моя!

Посмотри: зреют тучные нивы вокруг,
Тонкорунные овцы выходят на луг.
Деревенские парни собираются в круг
И кружат в ослепительной пляске подруг,—
Как прекрасна отчизна моя!

Год проходит и новый сменяет его,
Календарь отмечает побед торжество.
Имя Сталина будит в нас дух боевой,
Он нас к счастью поднял из нужды вековой,—
Как прекрасна отчизна моя!

БЕГЛЕЦ С КАРПАТ

С тоской рассказывала мать
Про брата молодого,
И я старался ей внимать,
Не пропуская слова.

Ее любимый младший брат,
Попал Сеит в солдаты,
И брошен был в чугунный ад
На снежные Карпаты.

¹ Саз—музыкальный инструмент.

И доупаду он плясал
На свадьбе барабанной,
И в лазарете он лежал
Со штыковой раной.

Теперь в летах он, пышноус...
Но, несмотря на это,
Не нарушается союз
Героя и поэта.

— Ты вспоминаешь ли сейчас
Огни бывшего ада,
Где столько раз будила вас
Ночная канонада?

А сколько раз пришлось неметь
В простуженном бараке?
И сколько раз гремела медь,
Кидая вас в атаки?

Так пышноусого поэт
Выспрашивал при встрече,
И усмехнулся мне в ответ
Сеит широкоплечий.

— Немало горя позади...
Мы падали в бессильи,
Скулила осень, и дожди
Над нами моросили.

Шрапнель и вдоль и поперек
Свистала на Карпатах,
И мы тащились вдоль дорог,
Изрытых и горбатых.

Однажды в ночь у каганца
Мы в тесный круг сгрудились
И друг за друга до конца
Стоять уговорились.

И мы бежали в дождь и в грязь,
Земле желая мира,
Ни царских пушек не страшась,
Ни пули командира.

С лезгином смелым в тишине
Я шел лесною чащей
Служить поднявшейся стране,
О равенстве кричащей.

Всем, кто видал чугунный шквал
И кто, от грома пьяный,
Четыре года отгулял
На свадьбе барабанной.

И много дней мы шли спеша,
Стремясь дойти до тыла,
И лишь у Харькова душа
О фронте позабыла.

Был встречен красными беглец
Карпат снежноголовых,
И села видел, наконец,
В пылающих обновах.

Но отдых был в те дни тяжел:
Звала нас оборона,
И я с конармией пошел
На черного барона.

Так говорил он, шипля ус,
И лучше нет ответа,
Как то, что нерушим союз
Героя и поэта.

НОВЫЙ ГОД

На улице мороз
Окошки снег занес.
Как хорошо зимой,
Когда в легчайший пух укутана природа,
Собрав своих друзей
Под лампой в сто свечей—
И песней круговой,
И смехом радостным встречать начало года.

— Сыграй, а мы потом
Станцуем и споем,
С мане¹ шагнем туда—
Шагнем из декабря в январь другого года.

Пусть молодость поет.
Прославим новый год,
Пока еще звезда
Глядит на круглый стол сквозь окна с небосвода.

„День ушел, уходит год,
Серебрится небосвод,
Новый месяц к нам плывет.

¹ Мане—свадебные песни, состоящие из четверостиший, которые поочередно поют девушки и мужчины.

Счастьем жизнь богата.
Отчего бы нам тужить?
Хорошо на свете жить
С однолетками дружить:
Брат стоит за брата.
Пойте! Новый год настал.
Здравствуй, златолицый!
О бокал стучит бокал
И вино струится“.

— Давайте же споем,—и впрямь, друзья, споем!
Пусть мальчуган-январь смеется, наступая.
На свадьбу позовут—на свадьбу мы придем,
И спляшем, и споем, мы все, друзья, кедаи¹.

Сыграем и споем,
И чин² произнесем,
Пускай народ кругом
Подмигивая нам, веселью подивится.

Живее, друг, вставай,
Вставай и запевай,
А завтра нам пускай,—
А завтра нам пускай минувшее не снится.

Сыграй, а мы потом
Опять мане споем.
Мы скажем: в новый год мы с песнями вступили.

Красавицы, вперед!
Ведите хоровод
Навстречу январю, навстречу снежной пыли.

Кедаи—народные певцы.

² Чин—частушка.

У ХАСАНА

На замке граница наша. Стерегут ее джигиты.
Зорко смотрят вдаль сквозь темень их бессонные
глаза.

На дороге от заставы гулко стукнули копыта,
Это двинулись дозором на конях мои друзья.
На пути к границе—молча спят прозрачные озера,
Лепестки свои раскинув, ярко маки расцвели,
Колосится хлеб обильный. Едут всадники дозором,
И спокоен каждый колос на полях родной земли.
После дня работы слышно, как бегут по веткам соки,
То плоды трудов народа зреют, сердце веселя,
А над родиной, вздымаясь выше самых гор высоких,
Свет рубиновый бросают звезды славного Кремля.
Охраняя их сиянье, наше счастье охраняя,
Залегли бойцы в секретах, а джигиты на конях
Смотрят с сопки Заозерной, не ползут ли самураи,
И обратно едут с песней о прославленных боях!

Самураи к Заозерной
Лезли тучей напролом,
Мы их встретили отпорным
Сокрушительным огнем.

Им запомнится отныне
Бой у озера Хасан,
Как взлетали их твердыни
Словно щепки к небесам.

И бесславно и позорно
Прочь бежал хвастливый враг.
Мы на сопке Заозерной
Водрузили красный флаг.

И несется эта песня, быстрых птиц опережая,
Людам кажется, что рядом плещет озеро Хасан.

И напев ее могучий эхом горы отражают,
Отзываются, ликуя, степи, доли и леса.

Если вновь враги нагрянут, сдернем мы чехлы
с орудий,

Загремит над их землею наш свинцовый ураган.

И рванутся кони в сечу, рассекая воздух грудью,

И бойцы, горя отвагой, истребят в бою врага.



МАКСУТ СУЛЕИМАН

В ТУ НОЧЬ...

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ „СТАЛИН“

История!

Ты видела не мало,
Ты слышала не раз восстаний гром,
Но разве ты событие встречала,
Могущее сравниться с Октябрем!
В ту ночь

красногвардейцы и солдаты
Вдруг хлынули на берега Невы.
Два класса ошестинились для
схватки

На серых петроградских мостовых.
В ту ночь
не потухали лампы в Смольном.
Там до рассвета, не смыкая глаз,
Трудились Ленин с Сталиным
упорно,

Над картой революции склоняясь.
В ту ночь
„Аврора“ грянула на славу,—
Матросы шли восстанию помочь,
И принял землю русскую по праву
Рабочий класс

в ту памятную ночь.

СИВАШ

Уже давно
Не пролетал над взморьем
Таврический певучий ветерок.
Наш край рыдал,
Пленный черным горем:
Сиваш под тяжким гнетом изнемог.
В окопы враг бросал людей когда-то,
Гул батарей
Как черноморский вал
Вставал.
Страх изнурял солдата.
На помощь бога белый призывал.

Чем Врангелю владычество поможет
Над Перекопом?
Час пробьет,—и он
Пред красными свое оружие сложит,
Уронит ветошь выцветших знамен.

Друзья!
Уже садится в фаэтоны
Бессильный враг—
И мчится наугад,
Уже ведет своих бойцов Буденный,
И трубы победителей гремят.

Под ветром стынут горные отроги,
Гудит ноябрь—
И грозен, и суров,
Уже летит
По столбовой дороге

Двадцатый год,
Бессмертный год боев!

Сиваш, Сиваш,
В твоих гнилых просторах
Один ли только Прохор¹ схоронен?

Убитые!
В их неподвижных взорах
Горит багред прославленных знамен.

Их ни стихи,
Ни слезы не разбудят.
Сиваш седеет.
Молкнет сонный бриз...

„Пускай нам
общим памятником будет
Построенный
в боях
социализм “

А Перекоп
Оставил нам в наследье
Наш новый строй.
Наш пламень вечно юн.
Здесь плещет жизнь—
И смысл ее—в победе:
Есть ГМЗ
И есть Камыш-Бурун.

Пятнадцать лет,
Не знавших поражения,

¹ Прохор Иванов—красноармеец, убитый в 1920 г. Его тело было найдено в толще соли в 1935 г.

Они в полях,
Как войны, прошли,
И вот—
Поют колхозные селенья
Моей неотцветающей земли.

1935 г.

ХАЙТАРМА

Эй, сыграйте скорей
Хайтарму для меня,
В круг войти я хочу.

Пусть ликует душа,
Искрометней огня
Танец я отхвачу!

С детских лет я пляшу,
С детских лет я знаком
Ах, с тобой, хайтарма!

Я с мотивом твоим,
Как с родным языком
Породнен, хайтарма!

В круг кавказец войдет—
Ждет лезгинки мотив,
Я же—твой, хайтарма!

Удалым гопаком
Украинец счастлив,
Я ж—тобой, хайтарма!

День настал... Верный сын
Крымских гор и садов—
В хоровод я шагнул.

И глядел на меня
Бывший узник панов
Белорусс и гуцул.

Эй, скорей хайтарму
Заиграйте для нас,
В круг войдем танцевать.

Пусть беснуется враг—
В этот радостный час
Мы отпляшем опять!



ДЖАНГАЗЫ ШЕРФЕДИН

Крымский народный кедай (певец)

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ СЪЕЗД

Гул приветствий наполнил эфир голубой,
В них к товарищу Сталину наша любовь,
В них—идуший от сердца горячий привет
Делегатам великого съезда побед.
На трибуну Кремля мудрый Сталин взойдет,
На мгновение зал восхищенный замрет,
И тотчас делегаты поднимутся с мест—
Так встречает вождя Восемнадцатый съезд.
Делегаты! Вы слушайте Сталина речь,
Чтобы каждое слово навеки сберечь,
Чтобы все, что он выскажет съезду в Кремле,
Разнести по счастливой советской земле,
Чтобы каждый услышал из сталинских слов
Глубочайшую мудрость большевиков.

ПИОНЕРЫ

Посмотри на кручи гор—все зелено!
Распахни навстречу дню—настежь окно!
Утро свежее. Роса. Птицы поют.

Пионеры налегке в школу бегут.
Добрый словом провожают мать и отец
Сына:

— Грамоте учись, будь как боец!
Дверь распахнута. Войди. Сядь и пиши.
Познавай огромный мир в классной тиши.
Кто нам счастье подарил, юность и свет?
Сталин, друг наш и отец,—

вот наш ответ.

ВЕСНА

Я вижу: сады расцветают кругом,
И песня рождается в сердце моем.
Я силу республик прославить готов—
Одиннадцать ярких раскрылось цветов!
Набухла земля, зеленеет трава,
На труд и на солнце нам дали права.
Народ их в упорных боях получил.
Цветите, деревья, сверкайте, лучи!
Опять эбабили¹ поют в вышине,
Я шлю свою радость прекрасной весне.
Выходит бригада колхоза на луг,
И шествует в поле сверкающий плуг,
Ложатся пласты. И в сиянии дня
Идет молодежь—только песни звенят.
Сердца их веселые счастьем полны.
Цвети, разрастайся, отчизна весны!

1938 г.

¹ Эбабили—ласточки.

ТАШ-ДУДУ

РАССКАЗ

I

Старушка Таш-дуду в первый раз увидела Егора Фомича на собрании женщин избирательниц. Увидела и прониклась к нему уважением.

Когда этот человек, выдвинутый кандидатом в депутаты городского совета, в серой с блестящими пуговицами шинели, снял свой остроконечный шлем и надел роговые очки, Таш-дуду с тем же добрым чувством подумала: „Видать, образованный...“

В светлой, просторной школьной аудитории весело переговаривались собравшиеся женщины, но Таш-дуду молчала: ей почему-то, безо всякой причины, вспомнился сын и она задумалась. Собственно, она и сама не знала, почему при виде этого бледного человека ей вспомнился сын. Одетый в хорошо пригнанную форму, высокого роста, со светлыми волосами, Добрин все, казалось, чему-то радовался: тихая улыбка не сходила с его лица. Сын же у старушки был коренастый, до черноты смуглый парень. Добрин то, видно, нежный, образованный. А сын у Таш-дуду выхаживал лошадей, таскал на спине тюки и мешки, часто пил водку, словом был простой неграмотный дрогаль. Да, неграмотный! Из-за своей

неграмотности он и был угнан на николаевскую войну и там убит.

Одно время Таш-дуду так и думала: воюют только неграмотные, темные люди, а те, с белыми воротничками, что служат в светлых учреждениях с большими окнами, в такие опасные затеи не вмешиваются. Точно дети, которые не посещают школу, дерутся и разбивают себе в кровь носы и головы, так и темные люди убивают на войне друг друга.

Но в советское время так не бывает. Таш-дуду это поняла хорошо: сын ее соседа, слесаря Кости, окончив высшую школу, узнал как искать богатства глубоко в земле, и несмотря на это, все же был взят в армию и даже участвовал в недавних боях с японцами.

„Советская власть на всех смотрит одинаково. Этот улыбающийся человек тоже военный. Значит, если будет война, он тоже как и мой сын будет воевать“, — размышляла Таш-дуду.

Когда раздался звонкий голос председательствующей женщины, призадумавшаяся Таш-дуду встрепенулась.

Добрин говорил просто и понятно. Он рассказал, как рос в семье учителя, как рано лишился родных, а в годы советской власти учился и получил специальность провизора.

„Так и есть — образованный,“ — мысленно повторила Таш-дуду, но что означало слово „провизор“ — она не знала. Встать и спросить об этом у нее не хватало смелости.

Егор Фомич кончил свое короткое выступление, улыбнулся и сел. Женщины шумно зааплодировали. Таш-дуду тоже захлопала своими худыми руками и

развеселилась. Как только затихли аплодисменты, она нагнулась к сидящей впереди молодой женщине и спросила:

— Акыз, что оно такое—этот привезор?

— Не привезор, бабушка. Провизор! Человек, который делает лекарства.

— В-а-а-й! Оказывается, он аптекарский доктор!— удивленно сказала она упавшим голосом.

У старухи разом изменилось выражение лица и между густыми бровями ее, нависшими над глазами, появилась глубокая складка.

Если она до сих пор смотрела на Егора Фомича с чувством уважения, то теперь ее мнение о нем стало совсем другим.

Не испытывавшая за всю свою долгую жизнь ни одной болезни, всегда здоровая, бодрая, получившая за все это имя Таш-дуду¹, старуха Назифе смотрела на врачей и на людей, готовящих острые снадобья, с недоверием и презрением.

После того, как ее дочь умерла в деревенской больнице, недоверие превратилось в ненависть. Хотя дочь умерла от того, что у нее был настоящий туберкулез и еще какая-то сердечная болезнь, к тому же она совсем не пила прописываемых ей лекарств, Таш-дуду все же сочла, что в ее смерти виновны врачи и их ядовитые лекарства. С тех пор она не переставала их проклинать.

Для Таш-дуду теперь и Добрин попал в число этих проклинаемых людей. Он сразу потускнел в ее глазах, его лицо, казалось, завяло от горьких лекарств.

Старушка, не дождавшись конца собрания, наки-

¹ Таш-дуду—буквально „каменная тетушка“.

нула на голову теплый, с длинными кистями, вязанный платок, вышла на улицу и с невнятным ворчанием направилась домой. Когда проходила мимо дровяного склада, ей почудилось, что и дрова пахнут каким-то кислым лекарством.

Так Таш-дуду отвернулась от кандидата. Как бы горячо ни рассказывали ей агитаторы о честном достойном Егоре Фомиче, она своего мнения о нем не изменила. Как будто соглашаясь, Таш-дуду кивала головой, но в сердце своем уже не симпатизировала Добрину.

Вскоре подошел день выборов. Старушка надела свои бескаблуковые сапожки-месты, на сапожки глубокие галоши, закуталась в теплый платок и, не дожидаясь прихода за ней машины, медленно волоча ноги, пошла в избирательный участок. Она увидела здесь много знакомых женщин, но в разговор не вступала.

Как только старушка получила бюллетень, к ней подошла красивая веселая женщина, взяла ее под руку и проводила до кабинки. В кабинке Таш-дуду задержалась дольше всех, но на это никто внимания не обратил. Отдала она свой голос Егору Фомичу или нет, тоже не знал никто. Это осталось тайной Таш-дуду.

II

Если бы бюллетени с фамилией кандидата вычеркнуло хотя бы три-четыре человека, Таш-дуду не так бы забеспокоилась. Но против Егора Фомича голосовал только один человек. На следующее утро, услышав об этом, Таш-дуду была совершенно обескуражена, целый день она не могла забыть, что только она одна голосовала против Добрина. Вечерами она обычно долго засиживалась у своей соседки, живущей рядом через стенку, краснощекой добродушной

вдовы, но сегодня ушла к себе рано: Таш-дуду показалось, что дочь вдовы, комсомолка-студентка строительного техникума, ею недовольна. Даже в обычном открытом смехе вдовы, смехе без малейшего лукавства, Таш-дуду прочла упрек. О чем собственно горевать старухе? Тот единственный человек, который вычеркнул фамилию Егора Фомича был известен только Таш-дуду. Тем не менее на ее сердце лежала какая-то тяжесть. Она до поздней ночи ворочалась в постели, мучимая бессонницей. Только под утро она наконец заснула.

Ночью Таш-дуду видела сны. Последний сон старухи был очень страшным: ее сын—неграмотный дрогаль, давным-давно погибший на войне, стоял, прислонившись к воротам, печальный и подавленный. Он смотрел на мать и молчал, на нем была серая с блестящими пуговидами шинель, а на смуглом лице поблескивали большие очки. Старуха с криком: „сын мой, родненький, ты живой!“—бросилась к нему, хотела обнять его, но дрогаль как-то странно поблек, волосы его окрасились в цвет соломы, тело вытянулось и он обернулся Добриним. Таш-дуду сделалось неловко. Она пожелала что-то сказать депутату, но не смогла: к горлу подступил твердый комок и голос оборвался.

Таш-дуду проснулась. Часто-часто билось сердце, дрожали руки, болела голова. Старушка обрадовалась, что перед ней нет больше Добринина. Во рту после сна собралась вязкая слюна. Она глотнула и почувствовала боль в горле. Глоток, точно неразжеванный черствый хлеб, больно царапнул горло.

Было утро. Из окна виднелась крыша сарая, покрытая выпавшим за ночь снегом, с улицы доносились

торопливые шаги идущих на работу. Но старуха сегодня не могла подняться и выйти.

Краснощекая соседка почти каждый день навещала Таш-дуду поздним утром. К счастью старухи, она пришла сегодня рано.

— Тетушка Назифе, вы никак больны?

Таш-дуду своей горячей, узловатой рукой показала на горло и утвердительно кивнула белой, как некрашенный шелк, головой. Соседка приложила ладонь к сморщенному лбу старухи.

— У вас жар, вставать вам нельзя, — наставительно сказала она. — А почему до сих пор не постучали в стенку? Погодите, сейчас затоплю печку и согрею вам чаю. Бедняжка! Лежит себе и даже голоса не подает.

От раскалившейся печки в комнате стало тепло, через несколько минут пискливо запел чайник. В это время прошла мимо окна дочь соседки, студентка Эсма. Мать, заметив девушку, выбежала на крылечко.

— Эсма, Эсма! Тетушка Назифе заболела. Позвони, детка, к врачу.

Потом она тихо, еле слышным шопотом, добавила:

— Видно, тяжелая болезнь: у нее болит голова, горло, дышит она тяжело. Беги скорей.

Эсма торопливо вышла на улицу. По пути в техникум она позвонила в амбулаторию.

Мать же Эсмы целый день заботливо хлопотала у больной.

III

Короткий зимний день был на исходе. Эсма возвращалась домой. Увидев на углу своего переулка красивую, цвета сирени, машину, она подумала: „Дол-

жно быть, к Таш-дуду приехал врач". Однако из машины, подобрав полы шинели, вышел Добрин. Эсма узнала его издали. Он заговорил со стоящими там же двумя пожилыми мужчинами, одетыми в белые овчинные шубы. Через минуту к ним подошла и Эсма.

— Ну, техник, как идет учеба?—спросил Егор Фомич и пожал ей руку.

Видно, студентке польстило слово „техник“, она счастливо зарделась:

— Хорошо, Егор Фомич. Скоро кончаю.

— Торопитесь, торопитесь, Эсма. Работы много.

— Есть торопиться, товарищ депутат!—шутливо ответила Эсма и добавила:—Егор Фомич, соседка наша, Таш-дуду, заболела.

— Таш-дуду? Не знаю такую... Что у нее болит?

— Говорит, что голова и горло.

— Горло, говорите?

— Да.

Егор Фомич повернулся к пожилым мужчинам.

— Наша задача—замостить вот этот переулок. Позже возьмемся за ремонт тротуаров.

Он застегнул шинель и сел за руль.

— Ну, Эсма, садитесь, проведем больную.

Эсма села рядом с ним и машина пошла трусить по тем ухабам, которые скоро должны быть выравнены и покрыты мостовой.

Таш-дуду, перед взором которой неотступно стоял этот „привезор“, потупилась, когда увидела его в своем доме. Но этого никто не заметил.

Депутат наклонился к постели больной.

— Бабушка, дайте вашу руку, посмотрим.

Слово „бабушка“, сказанное этим человеком,

совсѣм растрогало Таш-дуду. Сердце ея переполнилось непонятным чувством, к глазам подступили слезы. Старуха, видимо, хотела скрыть их: она отвернулася к стенке и вынула из-под стеганого одеяла свою костлявую руку.

Добрин отыскал пульс и некоторое время сосредоточенно молчал.

— И горло у вас болит? Да, бабушка?

— Болит,—еле слышно прохрипела старушка, но посмотреть ему в глаза не осмелилась: ей казалось, что они, эти зеленые глаза, за выпуклыми стеклами очков, видят очень глубоко, видят даже, может, то, что происходит у бабушки на душе.

Было очевидно, что у Таш-дуду ангина.

— Кто у нее есть?—спросил Добрин Эсму.

— Никого. Она одна живет.

— Ее надо немедленно в лечебницу. Бабушка, вас придется поместить в больницу. Там вы скорей вылечитесь. Одевайтесь, я вас повезу.

„Они хотят, как и дочку мою, убить лекарствами“, пронеслось в голове старухи.

— Нет, не поеду... не поеду,—всплакнула она,—умирать, так лучше умру в своем доме.

Депутат как-будто и не слышал этих слов.

— Одевайте, — коротко сказал он студентке и вышел.

IV

Уже вечерело, когда Таш-дуду уложили на больницу белую кровать. Палата находилась на втором этаже большого, красивого здания. На белых, как у Таш-дуду, кроватях мирно лежали больные. У старушки после поездки еще больше разболелась голова

и поднялась температура. Каждый раз, поднимая отяжелевшие веки, она видела широкие окна справа и белый потолок над головой. Изредка больная, лежащая в левом углу, со стоном ворочалась в постели, а другая больная рядом с ней, как-будто дразня ее, начинала храпеть.

Не успела Таш-дуду освоиться с обстановкой, как услышала тихие голоса и легкие, вкрадчивые шаги. В палату вошли две женщины в белых халатах. Одна из них была молодая, с узким веснушчатым лицом, другая уже в преклонных годах.

Молодая присела на край кровати и пощупала голову и горло старушки.

— Откройте рот. Вот так... Еще... Еще...

Она оценивающе покачала головой, быстро встала и, сказав что-то сестре, вышла.

Таш-дуду теперь и сама поняла, что у нее болит горло. „Кто знает, какие мне дадут горькие лекарства. Могут еще горло обжечь...“—подумала она и пугливо скосила свои узкие глаза на женщин.

Веснушчатая сестра не заставила себя долго ждать. Она вошла с бутылочкой лекарства и этим повергла Таш-дуду в смятение.

— Поднимитесь-ка. Будете горло полоскать вот этим лекарством,—холодно, как показалось старушке, сказала она.

Таш-дуду, не отводя потухших глаз от бутылочки, приподнялась и несколько раз брезгливо полоснула рот. Теперь она, как ни странно, дышала легче. Только головная боль и противный вкус лекарства во рту напоминали ей, что она больна.

Она хотела, чтобы никто не мешал ей теперь, но веснушчатая сестра не оставила бедняжку в покое. Ни

слова не говоря, она приложила к горлу Таш-дуду мокрую тряпицу и вышла. Таш-дуду удивилась,—от тряпицы несло водкой, крепкой бьющей в нос водкой. Так когда-то пахло и от ее сына-дрогаля. Этот щекочущий запах заслонил смешанный запах лекарств, стоящий в комнате, даже затуманил больную голову старушки. Утомленная вчерашней бессонной ночью и почти полуцыганая, Таш-дуду закрыла глаза и быстро уснула.

Хотя всю ночь больная, лежавшая в углу, со стоном переворачивалась с боку на бок и бредила, это не беспокоило Таш-дуду. Только рано утром сестра, неслышно подошедшая к ее кровати, опять потревожила старуху. Она сунула ей подмышку холодный термометр и весело сказала:

— Сейчас звонил ваш депутат, Егор Фомич.

Таш-дуду широко раскрыла свои маленькие немногие опухшие от сна глазки.

— Депутат?.. Йигор Фамеч?..

— Да, спрашивает, как, мол, чувствует себя моя бабушка. Прошу, говорит, за ней смотреть получше.

Оторопевшая Таш-дуду ничего не ответила сестре. У нее опять переполнилось сердце, увлажнились глаза. Она чуть не расплакалась, но сдержалась.

Старушку в эту минуту больше, чем ангина, мучили сомнения и сильная досада на себя.

Сестра достала из-под руки Таш-дуду термометр.

— Тридцать семь и шесть,—сказала она и спокойно вышла.

Так продолжалось два дня.

За это время Таш-дуду примирилась со странным вкусом дезинфицирующей жидкости. Резкий запах спирта, исходящий от компресса, ее больше не раздражал. Даже аспирин с кофеином, который ей показался наиболее опасным, она стала принимать с неожиданной легкостью. Но она уже начала скучать по низенькому своему домику, по весело трещавшей печурке, по черному кофе.

На третье утро появилась веснушчатая сестра.

— Не говорите мне, что вам хочется домой,—накинулась она на Таш-дуду.—Дом ваш не уйдет. Вы еще не здоровы.—Она вынула из кармана халата маленькую коробочку.—Вот, ваш депутат, Егор Фомич, для вас, специально для вас, прислал лучшие таблетки. Егор Фомич хороший человек, очень хороший человек. А-ну, встаньте, проглотите одну.

Таш-дуду приподнялась.

„Для меня... Специально для меня... Прислал хорошие таблетки,.. А я? Ах!“

Старушка вздохнула положила на язык таблетку и уже без боязни проглотила. С каждой таблеткой она чувствовала себя лучше. На вечер под новый год она даже пошла в красный уголок больницы. Сегодня старушка еще больше скучала по своему домику, ей порой становилось тоскливо. На следующий день она не ложилась. Целый день ходила она по больничному коридору, устланному узкой ковровой дорожкой, слушала радио, рассказала больным, тоскующим как и сама она, о том, какой хороший человек Добрин.

Под вечер она, опершись локтями на подоконник,

смотрела на покрытые снегом крыши домов, на дымящиеся трубы, на кучные вороньи стаи, летавшие над городом. В этот момент ее окликнули.

— Назифе Гафар, одевайтесь, за вами приехали.

Старушка быстро сбросила больничные одеяния, надела свои мягкие сапожки, сверху них глубокие калоши и, накинув на плечи теплый с длинными кистями платок, вышла.

— Ну, бабушка, поправились? — спросил Добрин, у входа ожидавший старуху, и взял ее под руку.

Таш-дуду утвердительно покачала головой.

— Садитесь, отвезу вас домой.

Старушка смущенно вошла в машину, но от стыда и на этот раз не посмела взглянуть в глаза депутату.

Даже когда проезжали через шумные, многолюдные городские улицы, Таш-дуду не подняла опущенной головы, еле сдерживая подступающие к глазам слезы. И, только переступив порог своего низенького домика, она так неистово разрыдалась, что Егор Фомич даже испугался.

— Что с вами, бабушка? — воскликнул он. — Что с вами?..

Однако сколько ни спрашивал Добрин, старушка не отвечала. Слезы катились по желобкам морщин на ее впалых, похудевших после болезни щеках.

Еще вся в слезах, она прикрыла лицо клетчатым передником и, всхлипывая, проговорила:

— Йигор Фамеч!... Йигор!... Прости меня, дитя мое... Я стара, ума нехватило, детка... Прошу тебя...

Депутат, ничего не понимая, пожал плечами.

— О чем вы просите? Ничего не понимаю. Никакой причины для слез нет.

— Есть, есть, Йигор... Есть... За тебя все отдали голоса... Все, все отдали... Одна я...

— Вы? Значит, это вы голосовали против? Но зачем же вы плачете? Успокойтесь!

Таш-дуду видя, что депутат не сердится, осмелела.

— Йигор... я отдаю тебе свой голос, Йигор.. Будешь в горсовете, скажи, что старая Назифе Гафар отдает тебе свой голос... Скажи там—я ошиблась... по глупости вычеркнула твое имя.

Егор Фомич, видя, как тяжело старушка переживает свой поступок, нежно взял ее за вздрагивающие плечи.

— Скажу, бабуся, обязательно скажу. Можете не беспокоиться. Будем считать, что свой голос вы мне отдали.

Таш-дуду обрадовалась. Ее худое лицо, хотя на нем все еще блестели слезинки, озарилось счастливой улыбкой.

— Ну, бабушка, до свидания, мне пора ехать. Больше не болейте.

— До свидания, спасибо, Йигор. Не серчай на меня, детка, захаживай еще.

Депутат, пригнувшись, вышел на крылечко.

— Зайду, бабушка. В выходной день я буду здесь, опять зайду к вам.

— Заходи, Йигор... Заходи, детка... Я тебе напеку слоеных пирогов... Обязательно заходи...

Она проводила депутата до самой калитки. Егор Фомич уехал, не переставая чему-то улыбаться. А Таш-дуду пошла к своей соседке и похвалилась:

— В выходной день у меня в гостях будет Йигор Фамеч.

АБДУРАИМ АЛТАНЛЫ

СКАЛА КОКТАШ

Много зеленью яркой покрытых вершин
Громоздится вокруг, но Кокташ высока,
Выше всех. И стоит та скала-исполин,
Задевая вершиной своей облака.
Если ветер подует—деревья шумят,
Будто песни поют вдохновенно они,
И ночами высокой скале говорят
Обо всем, что случилось в минувшие дни.
Но не мало скала и сама узнает:
Далеко, далеко устремлен ее взгляд;
Если ветер подует—скала запоет...
Память к песням меня возвращает назад.
„Насмотрелась я ужасов,—пела скала,—
Были баи и мурзы грозою для сел:
Я видала сама, как за кожу седла
Джемаатскую землю мурзак приобрел.
В эту землю убивший тирана джигит
Был закопан живьем,—так позволил мулла.
Мне известно, как матери сердце скорбит;
От тоски и от горя она умерла.
Я видала, как в Турцию плыл мой народ;
Он обманут был лживыми сказками мулл.
Возвращаясь, не знал он, что гибель найдет,
Что родимого крова не видеть ему“.

Если ветер прохладный, покинув Азов,
Мчался, тучей иль облаком землю прикрыв,
Говорила Кокташ; и печаль ее слов
Выливалась в протяжный тоскливый мотив.
Но все глуше мотивы безрадостных дней,
В новой песне Кокташ нескрываемый пыл—
Я слова этой песни подслушал у ней
И поведаю вам их, пока не забыл.
„Вырван корень беды—уничтожен мурзак,
Без работы мулла и не спится ему;
Светлый день отражен у народа в глазах,
Черен день для одних муэдзинов и мулл.
Больше некому будет убийц поощрять,
Тех, которыми в землю джигит был зарыт.
И муллой никому не захочется стать—
Ни один не найдетсЯ безумный джигит.
Скоро-скоро работы себе не найдет
Даже в тысячах сел безработный мулла,
И закроет пустые мечети народ,—
Он проснулся для жизни“,—так пела скала.

1927 г.

НЕНАВИСТЬ

Я видел бандитов, жестоких убийц, —
Наш суд был суровым и быстрым,
И все же черты их разбойничьих лиц
Мне не были столь ненавистны.
И если сравню я их с вами, они
Вас лучше, вас лучше, хоть—вам и сродни.

Я видел двурушников, подлых ханжей,
Мы их не щадили нисколько.
Был каждый из них изворотлив, как змей,
Грозивший отравленным жалом.
Но вы превзошли их, ведь ваши дела
Измена тропой преступлений вела.

Я бешеных видел собак и не раз
Стрелял в них и метко и скоро.
Но эти собаки невиннее вас,
Всей вашей взбесившейся своры.
Животному ль впору коварная месть,
И дело гнуснее ему ль изобрести?!

Да, вашей трусливой рукою убит
Наш пламенный, славный Мироныч,
Порывист, как буря и тверд, как гранит,
Он вел нас вперед неуклонно.
Прямую дорогою к цели идя,
Он пал, незабвенный соратник вождя.

Вы пропасть паденья узнали до дна,
Растленные души запродав.
Вы Сталина жизнь хотели отнять—
Великое сердце народа.
Вы Ленина пламя мечтали задуть,
К развалинам родину нашу вернуть.

Но Сталина мы сберегли, и в века
Любовь наша хлынет потоком.
Она нарастает, как в бурю река,
Бегущая руслом широким.
И эта любовь над вожатым родным
Пребудет бессменным его часовым.

Я отхожу и на него
любуюсь без конца,
Как будто предо мной черты
любимого лица.
А он, как тополь молодой,
стремится в высоту,
И я, счастливый, вместе с ним,
от радости расту.
Стою не в силах оторвать
своих влюбленных глаз
И вспоминаю, как рассвет
встречал на стройке нас.
Суровый каменщик,
маяр, веселый штукатур
Шли на работу, как бойцы,
идушие на штурм.
И вот—настал последний час,
наполненный трудом,
Освобожденный от лесов
стоит пред нами дом.
Входите ж, люди, веселей
в уют его квартир,
В честь новоселья зададим
сегодня славный пир,
Пусть огласится все вокруг
счастливой детворой,
И песня хлынет к облакам,
окрашенным зарей.

1940 г.

ПОЙ, ТОВАРИЩ!

Я вспомнил сегодня ушедшую быль.
В кварталах предместья,
где копоть и пыль,
Где юность, как ветер, промчалась моя,
Родились и жили когда-то друзья.
И песню, я помню, сложили они:
Мы вместе добудем прекрасные дни,
Для жизни мы смерть уничтожим с тобой.
Пой же, товарищ! Пой!
И грянула буря войны над страной,
Два друга покинули город родной.
Я помню, как песня звенела вдали.
Друзья в „Каракуш“ к партизанам ушли.
Гудела в степи огневая пурга.
Клинками два друга рубили врага.
И песня гремела в атаке любой.
Пой же, товарищ! Пой!
Однажды столкнулся с врагами отряд.
Взорвался над нами тяжелый снаряд.
Товарищ, что песни любил запевать,
На „Каракуше“ остался лежать.
Друг! Песня твоя никогда не умрет,
Ту песню вся родина наша поет.
Поет партизан и боец молодой,
Пой же, товарищ! Пой!

КЛЯНУСЬ

Ты все дала мне, мать моя—отчизна,—
И нежность материнскую свою,
И песен жар,
И счастье светлой жизни.
Я о прекрасной родине пою!
Нам в грудь вдохнул
И радость и цветенье
Великий Сталин,—
Друг наш и отец.
И миллионы взоров и сердец
Наполнены отвагой и гореньем.
Я ухожу хранить твои границы,
Клянусь, как сын,
Тебя уберегу.
Огонь смертей таят в себе бойницы,
Готовые ударить по врагу.
Я ухожу, чтоб твердо стать в дозоре
И не смыкать всевидящих очей,
Чтоб никогда не меркнуть ясным зорям
Над драгоценной родиной моей.

ВИНОГРАД

Под солнцем августа, свисая до земли,
Налился медом виноград янтарный.
И с песней звонкой по садам пошли
Меж лоз тяжелых девушки и парни.

Я славлю труд колхозников. Я горд
Творцами этих солнечных кристаллин.
Мне б, кисть художника, я б создал натюр-морт,
Где б грозди вам сердца напоминали.
Страна моя! Прими Гурзуфа дар—
Литые кисти виноградных ягод.
В них пламенеет солнца южный жар
И вин прохладных пенистая влага.
В каком краю вам лозы принесут
Такое изобилие винограда?!

А сердце слишком маленький сосуд,
Чтоб в нем могла вместиться наша радость.



АМДИ АЛИМ

ПИСЬМО

Стою на посту. Постовые
За местностью зорко следят.
А мысли, как вдаль вестовые
С приказом из штаба летят.
Труба заиграет, и сразу
Граница откроет огонь.
Меня понесет по приказу
Горячий, испытанный конь.
И дам я оружию волю,
Ни днем, ни в грозовую ночь
Пройти я врагу не позволю
В страну, где живет моя дочь.
А встретится пуля литая,
И навек умрут голоса,
Получишь письмо ты, родная,
Что я перед боем писал.
За жизнь, за спокойствие ваше
В просторах далеких лугов
Я умер, но видел, как наши
Громили заклятых врагов.
А может вернусь я из боя,
Приду невредимым домой.
Мы встретимся снова с тобою,
Мой нежный цветок полевой.

У МАВЗОЛЕЯ

По Красной площади задумчиво брожу.
Над шумным городом—бездонный небосклон.
Со скорбью в сердце грустно я гляжу
На мавзолей, где Ленин погребен.

Сюда все улицы московские ведут.
Здесь бесконечное течение людей.
Я в их потоке медленно иду.
Передо мной—гранитный мавзолей.

Мне глаз не отвести от мрамора его.
Затихла вдруг любимая Москва.
И кажется, Ильич попрежнему живой.
И слышу я великие слова.

И я пишу о том, как мой народ
Идет взглянуть на красный мавзолей.
Неся твой факел радостно вперед,
Мы все идем дорогою твоей.

Народы родины в работе и в бою
Стремятся быть такими же, как ты.
Ты не узнал бы родину свою.
Воплощены в ней все твои мечты.

По ленинским путям без Ленина идем.
Во всем я чувствую и силу и размах.
Мы знамя Ленина со Сталиным несем
В своих уверенных и крепнущих руках.

По Красной площади задумчиво брожу.
Над шумным городом—бездонный небосклон.
Воспрянув, я взволнованно гляжу
На мавзолей, где Ленин погребен.

ИБРАИМ БАХШИШ

АЛУПКА

Волны мчатся, как всадники,
Скалы просятся ввысь,
А домишки—рядами
По холмам разбрелись.
Край, увитый цветами,
Вешний, розовый сад;
Здесь—цветут виноградники,
Там—платаны шумят.

Древним тайнам причастная,
Закипает шумна,
Окликает прохожих,
Запевает волна:

„Помню годы ненастные,—
В сердце боль затая,
Песни дней непогожих
Пела некогда я.

„Словно туча свинцовая,
Шли года надо мной,
И владели агаи¹
Несравненной страной.

¹ Агаи—богатеи, кулаки.

И дворец Воронцова я
На крутом берегу
Увидала,

роняя
Жемчуга—на бегу.

„Лев, из камня изваянный,
Возлежал у крыльца,
Скалы тешили взоры
За оградой дворца.
Для большого хозяина
Нужно много земли:
Скарб свой нищенский в горы
Бедняки унесли“.

Ходит облачко хрупкое
В золотой вышине,
И могучий Ай-Петри
Отвечает волне:

„Я стою над Алукою,
Мне отсюда видней,
Долети же при ветре
До вершины моей!

„Ты услышишь ликующий,
Дальний говор земной,
Точно розы июня,
Дни цветут над страной.
Я тебе покажу еще
Сквозь вечерний туман—
В серебре полнолуны
Засиявший фонтан.

„Погляди же:

Розарии

Рвутся в каждую дверь;
Ты надменного бая
Не увидишь теперь.
Песни отжили старые,—
Так скажи, для чего ж
Ты, волна голубая,
О минувшем поешь?

„К благовонной акации,
Чуть весна расцвела,
Из колхозного улья
Вылетает пчела.
Над табачной плантацией,
Над садами —

Гляди!

Пролетая, блеснули
Золотые дожди.

„А когда к санаториям
Льнет вечерняя тьма,
Листья шепчутся в парке
И звенит хайтарма,
Молодые татарки
Созывают подруг,
Входят юноши, вторя им,
В их смеющийся круг.

„Слышу поступь тяжелую,
То гремят поезда:
Горожане,

сельчане

Едут в гости сюда.

Дай же мне обещанье,
Что—вольна и шумна—
Грянешь
 песню веселую
Голубая волна!“

А Й Ш Е

Цветы излучали вокруг аромат,
Гремел соловьями разбуженный сад,
И в час, когда солнце катилось в закат,
Тебя я увидел, Айше.
Привыкшая к зною, ветрам и труду,
Ты с песней плоды собирала в саду,
С восторгом взглянув на твою красоту,
Тебя полюбил я, Айше.
Твой лоб украшали колечки кудрей,
Под ними раскинулись дуги бровей,
А щеки—весенней зари розовой,
Улыбчивая Айше.
В садах ли, в безбрежном раздолии нив
Звенит твоих солнечных песен разлив,
Твой юный, горячий в работе порыв
Меня вдохновляет, Айше.
Так будь же хорошей подругою мне,
Чтоб вместе на жизненном полотне
Ткать счастья узоры любимой стране,
Моя дорогая Айше.

ЭНАН АЛИМОВ

ГОРЛИЦА МАШЕТ КРЫЛОМ

РАССКАЗ

Меня разбудил гром, сильный раскатистый июньский гром. До этого сквозь мутную дрему я слышал какой-то мерный, баюкающий шум: шел дождь, тяжелые капли монотонно стучались в окно и крышу.

Я нехотя открыл глаза и посмотрел на окно. Перед тусклыми, вспотевшими стеклами проносились вихри водяной пыли, кружились и падали. Через город на запад шла гроза: огненные змеи молний стремительно чертили небо, словно кто-то большой, разгневанный стегал облака оранжевой плеткой, и умирали. Через несколько секунд после этого по крыше дома тот же разгневанный гигант катал из стороны в сторону огромный жестяной барабан, наполненный адским громоханием.

Однообразный, нудный шум дождя и постоянно повторяющиеся раскаты грома давили на веки, голова клонилась к подушке. Последнее, что я увидел, вновь погружаясь в дремоту, были сумеречные тени, наполнившие комнату, и огненный хлыст, взметнувшийся в далеком небе. Это был полусон, сладкий и болезненный. При каждом ударе грома я, тревожно вздрагивая, силился открыть слипающиеся веки, но слабость серой птицей накидывала на мою голову

теплое крыло и я, бессильный сопротивляться, больной и побежденный, послушно плыл к каким-то плоским, темным берегам.

Ах, эта серая птица! Сколько дней уже она стерегла мой сон, выжидала и надеялась! Стоило мне только уснуть или нарочно смежить веки, она неслышно влетала в комнату, плавно садилась у моего изголовья, и, расправив крылья, замирала, как каменная. Чего она ждала?

Последние дни я жил в полусне, не живой и не мертвый, слабый и задавленный огромным теплым крылом. Целый месяц до этого тело мое боролось со смертью, я кусал себе губы, что-то говорил, о чем-то просил, вскакивал с постели и падал на пол, и все это происходило помимо моего сознания. Теперь я выздоравливал, силы медленно возвращались ко мне, но меня одолевал сон: я спал целыми сутками.

Вот и сейчас: за окнами мерно шумит дождь, где-то близко гремит трамвай, мне бы встать, подойти к окну, посмотреть на дождь, на трамвай, на мир, который я не видел целый месяц, но я не могу: веки наливаются свинцом, все тело ноет, кто-то заботливо машет над головой разноцветным, словно радуга опахалом. Я не вижу опахала, но почему-то знаю, что это машут им и что оно сделано из разноцветных перьев, пахнущих чем-то острым, свежим, весенним...

Вдруг опять гремит гром. На этот раз я слышу отчетливей, чем прежде. Я открываю глаза.

Первое, что я вижу, это огромное дерево, дикая груша, ветвистая и высокая. Дождь идет густой и обильный, впереди, шагах в десяти, он образует

почти сплошную стену. Огромная груша, спрятав вершину в этой голубой завесе, тихо качает своими ветвями. По моей спине катится холодная, щекощущая струйка. Я ежусь и стараюсь натянуть на голову одеяло. Но, что это? У меня нет одеяла, вместо него я кутаюсь в рваный пиджачишко, из прорех которого на локтях и на груди выглядывает серая клочковатая вата.

Я робко оглядываюсь кругом, не веря тому, что я вижу. Я сижу под густым ореховым деревом, зябко прижавшись к щербатому стволу и к чему-то теплomu, мягкому.

— Я совсем мокрая,—говорит это тепло.

Я удивленно смотрю на него. Рядом со мной сидит понурая девочка лет десяти-двенадцати, худая, черноглазая. На ее маленьких косичках, на щеках, на остреньком подбородке висят прозрачные капельки дождя, чистые, продолговатые капельки, похожие на слезы. Девочка мелко трясется, капельки одна за другой срываются с подбородка и, ударившись о черное платье, пропадают. Девочка никак не может унять дрожь, она с силой прижала бледные ручки к груди.

— Прижмись сильнее,—тихо говорю ей.

Она жмет ко мне, кладет головку на мое плечо и я у самого лица слышу ее ровное, слабое дыхание.

Дождь все идет и идет, где-то сзади глухо шумят деревья, откуда-то справа доносится жалобное бление козы. Все кругом призрачно и неопределенно, обычные, давно знакомые вещи—деревья, тропинки, небольшой запущенный прудик с зеленой водой,—затянутые голубоватой кисеей дождя кажутся другими, принесенными сюда из далеких, неизвестных

стран. У самого прудика растет коренастая, кудлатая ива, поникшая в немой печали, скованная каким-то большим, невысказанным горем.

Вдруг я узнаю и эту плакучую иву, и этот зеленый прудик, и всю эту местность. „Это же Шареке!“ обрадованно вскрикиваю я. Ну, конечно, Шареке. В том маленьком прудике когда-то, когда еще жив был помещик Кара-Мурза, купались его буйволы. Он так и называется Буйволиным озером. Буйволы у мурзы были облезлые, страшные, с красными сердитыми глазами. Сам мурзак тоже был страшный, глаза у него смотрели с ненавистью, как у злого, бодливого буйвола.

— Это же Шареке,—словно не веря своим словам, повторяю я.

— А вдруг кто уведет наших коз,—испуганно говорит моя соседка.

Она пристально смотрит мне в глаза. Ее пунцовые мокрые губки болезненно скривились, я чувствую, что она вот-вот заплачет.

— Брось хныкать,—беспечно говорю я,—никто их не уведет.

А капли падают без конца, холодные и неприятные, они собираются в щекочущие струйки и медленно стекают по телу. Я поднимаю глаза. На темных листьях орешника висят спелые гроздья слезинок, много-много гроздьев.

— Теперь воруют и днем. Вчера увели корову Музаффара, могут и коз увести,—скулит девочка.

Я только теперь узнаю ее.

— Это же, ты, Гюлизар?—удивляюсь я.

Она молчит, только головка ее еще сильнее жмет-ся к моему мокрому плечу.

Высокая груша перед глазами устало качает ветками, словно ей нестерпимо холодно и она хочет этим движением согреть свое огромное тело. Над грушей неожиданно вспыхивает огонек и стремительно падает вниз. Затем раздается оглушительный грохот, и мне кажется, что при этом задрожала земля. Гюлизар вскрикивает и обхватывает меня руками.

— Это молния, ты не бойся,— кричу я, не меньше ее напуганный.

Она понемногу успокаивается, даже пытается улыбнуться, но губки ее, сведенные холодом, подрагивают и застывают. Ее волосы касаются моего подбородка, они мокрые, липкие. Вместе с запахом дождя, мокрой земли и древесины я слышу какой-то тонкий сладковатый запах—запах женских волос: они пахнут душистым табаком.

— Пойдем, поищем коз,— шепчет Гюлизар, точно боится, что ее услышат.

Я люблю эту девочку, люблю давно, буду любить до самой смерти. Мне хочется погладить ее головку, целые дни смотреть ей в глаза, пронести ее на руках через горы и леса до Яйлы, до самого Капсихора.

— Хочешь, Гюльчик, я полезу на эту грушу?— гордо спрашиваю я.

Она смотрит мне в глаза, я ищу в ее зрачках восхищение. Зрачки у нее большие, маслянистые, подернутые чарующей, чуть рыжеватой поволокой. В них отражается темная зелень леса и моя глупая, самодовольная физиономия.

— Зачем тебе лезть на это дерево?— не отводя глаз, спрашивает она.

— Чтобы посмотреть коз,— отвечаю я.— Потом...

Я хочу показать, что смогу сделать все, что тебе захочется...

В зрачках ее вспыхивают огоньки, рыжеватая поволока искристо переливается.

— А в Старую мечеть ты можешь зайти? Ночью, один?

Старая мечеть... Серое, обросшее мохом, жуткое здание. Ночью там собираются злые духи, разводят костер и поют какие-то песни. Это место обходят и днем, только один полоумный Вели, которому все нипочем, осмеливается заглянуть в узкие оконца храма. Потом с диким воем убегает домой. Вели уверяет, что на полу мечети валяются обглоданные кости, много-много костей...

Мне становится холодно, я дрожу, испуганно оглядываюсь, готовый увидеть за каждым деревом белую тень, закутанную в саван.

— Нет, не могу,—признаюсь я,—куда хочешь пойду, только не в ту мечеть...

Зрачки опять затягиваются обычной поволокой. Гюлизар отводит разочарованные глаза.

— Куда хочешь, только не в ту мечеть,—виновато повторяю я.

— Боишься?—уже не так обиженно спрашивает она.

— Боюсь,—шепчу ей,—и вправду боюсь... Если бы я был большой... Мне же всего тринадцать лет.

Потом мы долго молчим. Дождь уже идет редкий, удары грома доносятся издалека, высокая груша направляет ветви. Кудлатая ива стоит попрежнему понурая, задавленная своим невысказанным горем, свесив ветви и бездумно заглядевшись в зеленые воды прудика. Она похожа на тоскующую девушку с длинными, распушенными волосами.

— Дождь проходит,—равнодушно замечаю я.

— Я кушать хочу,—еле слышно говорит Гюлизар.

— Бедная Гюлизар, бедная, бедная девочка! Ела ли она сегодня что-нибудь? Похлебку из диких корней с постным лопухом?

Я лезу в карман, щупаю что-то клейкое, мягкое, завернутое в мокрую тряпицу. Это лепешка, маленькая, кукурузная лепешка, мой обед... А до обеда еще далеко, часа два еще, но мне и самому уже хочется кушать.

Я разворачиваю тряпицу и делю лепешку пополам. Она вся промокла, липнет к пальцам, желтые, самшитовые крошки сыплются на землю.

Мы кушаем, молча, тесно прижавшись друг к другу, сосредоточенные, серьезные. Удовольствие наше длится недолго. Много ли счастья в небольшой кукурузной лепешке?

— Ну, как, наелась?—спрашиваю девочку.

Она не отвечает, только еще ближе придвигается ко мне. У нее худенькие, остренькие плечики, прилипшее к телу, мокрое платье еще больше выделяет худобу.

— Конечно, нет...—сам отвечаю за нее.

Она поворачивает ко мне личико, бледное, с синеватым отливом, как у капли воды...

— Сегодня я видела у Сеттара целый узелок настоящего пшеничного хлеба. Он, наверное, сидит сейчас под каким-нибудь деревом и кушает. Он всегда, когда ему хочется кушать, уходит за деревья... Я его люблю.

Сеттар тоже пасет коз. Его родители живут неплохо, кушают пшеничный хлеб, имеют десять штук дойных коз. А мы имеем только одну козу. А есть

такие, что совсем не имеют коз... А сколько людей, не имеющих совсем что кушать... Война, разруха, Врангель—все это, как трутень, сожрало наше добро...

Так думаю я словами, часто слышанными от взрослых.

— Вот и дождь прошел, — говорю я, чтобы чем-нибудь отогнать молчание.

— Как хорошо! — Гюлизар радостно оглядывает лес, небо. — Пойдем, поищем коз.

Она вскакивает и выбегает на тропинку. Дождь и в самом деле прошел. Весь зеленый, омытый внешним дождем лес блестит, как детская, вызванная счастливым смехом, слеза. Дождь теперь сыплет где-то далеко за деревней.

— Пойдем, — повторяет Гюлизар.

Она стоит на тропинке, маленькая, мокрая, тихо улыбается и смотрит на меня. Я накидываю на ее плечики свой замусоленный пиджачок и мы двигаемся в лес, на поиски коз.

Весна... Буйная весна тысяча девятьсот двадцать первого года. Точно и природа, как люди, сбросила накануне с себя вековые оковы, дала простор своим бунтующим силам. Кругом, куда ни оглянись, зелень затопила землю, дикие, протеренные годами стежки заросли лесной повиликой, ручьи затерялись в густой чащобе трав.

Мы идем по узкой тропинке — она впереди, я за ней. Мокрая трава скользит по ее платьицу, роняет на тропку дождевые капли и квелые лепестки. Босые, загорелые ножки наступают на эти лепестки, на лужи, на глину, глина звучно хлюпает, а тропинка все змеится, пересекает ручьи, лужайки, ведет нивесть куда в горы.

Вдруг босые ножки перед моими глазами останавливаются, мы замираем. За большим деревом что-то шуршит, двигается. „Козы!“ обрадованно думаем мы, но нет: это идет Сеттар, небольшой, круглолицый паренек. Он нас не замечает, сосредоточенно жует большой кусок хлеба. Лицо его выражает блаженство, глаза сыто блестят, он осторожно переставляет ноги.

— Ты наших коз не видел?—громко кричу ему.

Он испуганно поднимает голову и быстро прячет хлеб в карман.

— Две козы—одна серая, другая рыжая,—поясняет Гюлизар.

— Нужны мне ваши паршивые козы, — осмелев, бросает Сеттар.

— Ну и чорт с тобой, — вызывающе отвечаю я, выступая вперед.

Мы с ним давнишние враги, я и сейчас готов схватиться с ним, тем более, что здесь Гюлизар. В это время где-то за лесом долго-долго гремит гром, словно покатали пустую, ветхую арбу с высокой горы. Гюлизар громко вскрикивает и, стремглав, бежит по тропинке. Я бросаюсь за ней изо всех ног, охваченный непонятной тревогой.

— Никуда наши козы не уйдут, ты не плачь, — кричу ей вслед, но она не слышит, все бежит вперед, стремительная, легкая.

Мы уже в большом, темном лесу, тропинка вьется между голыми стволами древних буков, делает немислимые петли. Гюлизар то и дело мелькает за деревьями, потом надолго исчезает. На ней уже не черное, старое платье, а что-то голубое, блестящее.

— Одна коза серая, другая — рыжая, — кричу ей вдогонку, — как тебе не стыдно, ты же депутатка, а плачешь, как девочка...

У меня уже болят ноги, все тело ноет, я чувствую, что мне никогда не догнать эту быструю девочку. Потом приходит это чувство усталости, желание расправить грудь, вздохнуть хорошенько и лечь тут же под буком и уснуть. Я останавливаюсь, разбитый и, отчаявшись, машу ей рукой. Рука ударяется о дерево, огромный бук несколько секунд пьяно качается, потом со звоном, как-будто он хрустальный, падает и рассыпается. Кто-то нежно кладет на мою горячую голову руку, я, преодолевая страшное желание уснуть, раздвигаю веки и удивленно оглядываюсь.

Сумерки клубятся и тают, в окно глядится серое, затянутое облаками, небо, на легких гардинах летают серые, нашитые кружевницей, горлицы. Кто-то машет над моей головой чем-то разноцветным, пахнущим полевыми цветами. Я боюсь встретиться взглядом с застывшими на моем лице, выжидающими, хищными глазами серой птицы, но любопытство берет свое: я медленно поворачиваю голову.

Я вижу черные завитушки волос над смуглой шеей, нежную мочку уха, узкий точеный подбородок и глаза, усталые, печальные глаза с большими черными зрачками, затянутыми рыжеватой поволокой.

— Милый, тебе лучше?—спрашивают эти глаза.

В них страдание сменяется надеждой, они излучают неистребимую веру в жизнь и большую любовь.

— Милая, славная...—шепчу я.

Она одной рукой гладит мою голову, а другой машет цветистым, прозрачным веером.

— Ты разбил склянку с лекарством,—тихо говорит она,—вспоминал коз — помнишь?—серую и рыжую... Ты бредил нашим детством.

В комнате пахнет розами и чем-то свежим, весенним, как-будто окна распахнуты на цветущую лесную поляну, на Шареке. Сердце сладко замирает, я жду, что вот-вот зашумит лес, закачает ветвями огромная дикая груша, а из-за орешника выскочит легкая, худая девочка в стареньком, черном платье.

Но она сидит здесь, рядом, уже большая, стройная, но попрежнему милая и нежная. В массивном гардеробе висит ее жакетка со значком „Г. Т. О.“ на левой стороне груди. Рядом с этим значком приколот другой — яркий, но скромный депутатский значок.

— Спи,—говорит она,—тебе сон помогает. Доктор так сказал.

Я пытаюсь улыбнуться и закрываю глаза. С гардины слетает горлица и садится у изголовья. Я слышу тихий шелест ее легких крыльев.

ИСМАИЛ САЛЕТ

Крымский народный кедай (певец)

РОДИНА

У нас виноградники есть и сады,
Чудесные дачи у светлой воды,
Довольство за честные наши труды,—
Как родина наша прекрасна.

Есть горы у нас и луга, и поля,
Везде плодородна родная земля,
Над нею лучистые звезды Кремля,—
Как родина наша прекрасна.

И если ты жаждешь напиться, иди
К студеной воде наших рек припади,
Почувствуешь свежесть и силу в груди,—
Как родина наша прекрасна.

Лишь только поднимется солнце с утра,
В просторные школы спешит детвора,
Любуясь детьми, старики говорят:—
Как родина наша прекрасна.

ЭЮП ДЕРМЕНДЖИ

МРАМОРНЫЕ СКЛОНЫ

Балаклава, века над вершинами гор
Ветер выл и могуч и жесток.
Стыл у ног твоих Черного моря простор,
Умывал тебя горный поток.

Тайну готы и греки твою берегли,
Говоря: „Здесь жилище богов“.
Из-за моря к тебе англичане вели
Караваны торговых судов.

Много разных людей в те далекие дни
Побывало на склонах твоих,
Рылись в недрах твоих и бранились они,
Что сокровища скрыты от них.

Замели времена след заморских гостей,
Как тропинки дыханьем зимы.
И лежали богатства. Но нет крепостей,
Что упорством не взяли бы мы.

Мы руками науки, как тяжкую дверь,
Эту тайну открыли твою.
Крымский мрамор в стране знает каждый
теперь,

Он добыт был с природой в бою.
И молва о сокровищах песню несет
Над страной на крыльях ветров.
Этот мрамор цветной балаклавских высот
Украшает московский метро.

ЯЛТИНСКАЯ ВЕСНА

Надев седое покрывало,
Жемчужной шапкою блеснув,
Возник Ай-Петри над провалом,
Где мчится гулкий Учан-Сув.

А по ущельям волчьей стаей
Летят ветра, припав к земле,
И, словно свадьбу затевая,
Буран кружится на Яйле.

Свистят на кручах злые ветры,
Клубится снег, как сизый дым,
А у подножия Ай-Петри
Цветут весенние сады.

Там небо ласково и чисто,
Прозрачна моря глубина.
Там бьется в ялтинскую пристань
Зеленокрылая волна.

Там, в травы струями вплетаясь,
Сбегают к морю родники.
И вспыхивают у проталин
Фиалок синих огоньки.

О, Ялта, кистью невозможно
Твоей весны запечатлеть,
Она с хорошей песней схожа,
А песню можно только петь.

И я, придя на берег талый,
И вспоминая посвист вьюг,
Зову друзей из снежной дали
Сюда на лучезарный юг.

КЕРИМ ДЖАМАНАКЛЫ

КОМСОМОЛУ

История всех лет земли едва ли
Видала дни счастливее твоих.
Бывало, что и братья враждовали,—
А как теперь мне счесть твоих родных?
О детских днях рабочей молодежи
Нельзя молчать. Бывало—в те года
На камень ляжешь—и готово ложе,
Сухарь найдешь—насушенная еда.

Родные нам—по классу и по крови—
Томятся братья в клетках стран чужих,
И палачи стоят в их изголовье,
И всюду смерть подстерегает их.
Как можем мы—крестьянам и рабочим
И сыновьям рабочих не помочь?
Друзья, на помощь! Мы должны помочь им
Тьму победить: им трудно в эту ночь.

Границы укрепляйте, коммунисты!
Когда шрапнель рвала знамена вкось—
У рубежей немало крови чистой,
Горячей, комсомольской—пролилось.
Родился ты в громах боев полночных,
В борьбе ты будешь крепнуть и расти.
Сын Партии, товарищ и помощник,
Всегда идешь ты—по ее пути.

М О Р Е

Седые волосы раскинув,
Напевной силою полна,
Подобно древнему акыну,
Поет торжественно волна.
И я люблюсь, как упруго,
Вскипая пеной шумных вод,
Несутся волны друг за другом
Безостановочно вперед.
Так ясным днем и ночью мгlistой
Всегда,—с зари и до зари—
Идут шеренгами на приступ
Могучих волн богатыри.
И эта мощь воды и ветра,
Стремленье вечное вперед
Напоминают мне бессмертный
Мой героический народ.
Проходят месяцы и годы,
Но нет, не старится волна.
Лишь в час жестокой непогоды
Пробьется пены седина.
Но схлынет буря, стихнет ветер—
И вновь светла пучина вод.
Вот так же молод, так же светел
Мой нестареющий народ.

АМЕТ МЕФАЕВ

В Е Ч Е Р

Когда подобно девушке стыдливой
Отступит солнце за отроги гор,
И тополь приумолкнет говорливый,
И потемнеет вдруг его убор...

О вечер, вечер! В этот час курганы
Уснув в степях,—и кто-то запоев
В твоём саду над озером туманным,
И кто-то затоскует у ворот.

И может путник, сбившийся с дороги,
Присядет молча на сырой гранит,
И кто-то там, на берегу пологом
Свою любовь от многих затаит.

Одним несешь ты радость и покой;
Другим—печалью падаешь на плечи.
Кто проклинал тебя, кто славил?—
над рекой
Давай поговорим с тобою, вечер!

Скажи, под черным куполом твоим,
Кто пал с рыданьем на холодный
камень?

Кто умер, кто родился вслед за ним,
Кто смех счастливый разделяет с нами?..

Но ты молчишь, незряч и безъязык.
Иль ты устал, бродя в пустом эфире?
Встает заря. В саду запел родник,
И солнце подымается над миром.



В ДАЛЕКОМ СЕЛЕНИИ

РАССКАЗ

I

Весной, когда деревья одеваются ослепительно ярким цветом и повсюду слышится сладковатый аромат, жена колхозного чобана Мемиша—Теслиме, по прозвищу „Чала“, становится все более беспокойной. До дней каникул сына осталось еще целых два месяца, а она уже ходит и приговаривает:

— Скоро приедет Билял! Если так суждено—агрономом приедет...

Колхозные женщины не удивлялись беспокойству Теслиме, зная, что Билял ее единственный сын.

Теслиме родила всего шестерых детей. Первенцом у нее был мальчик. Едва второй ребенок ее, черномазая девочка, достиг шести месяцев, как мордастый крепыш-первенец умер от скарлатины. И когда Теслиме была тяжела третьим ребенком, неожиданно умерла черномазая резвая девочка. За каких-нибудь десять лет родила Теслиме и похоронила пятерых детей.

И никто не знает, сколько плакала Теслиме, сколько горячих слез лила по ночам несчастная мать. Зато все помнят, что в двадцать восемь лет угольно-чер-

ные волосы Теслиме прошли вдруг серые, цветом похожие на свинец, нитки, прибавив бедняжке целых десять лет.

Когда умер первый ребенок, чобан Мемеш не особенно тосковал. „Судьба,—говорил он спокойно.—Ничего, Теслиме молодая, еще родит“. Но в день похорон последней девочки, которой было уже два с половиной года и она легко взбиралась на низкий сет или прыгала вдруг на обмазанный желтой глиной земляной пол, в тот день неудержимо плакал чобан. Он до того расстроился, что даже в кош не ходил несколько дней.

Наконец, уже на пороге четвертого десятка лет, родила Теслиме тощего, крохотного мальчика. Руки, ноги да и шея его были настолько тонки, что Мемеш с большой осторожностью брал его в руки и говорил с огорчением: „Не выживешь ты... Хилый очень“.

Но, к удивлению всех, хилый выжил, перерос своих ровесников и вскоре стал красивым, крепким парнем...

День каникул все приближался. Становилось теплее и теплее. И с каждым днем росло нетерпение Теслиме. Однажды она, наклонившись к мужу, украдкой шепнула ему:

— Приедет Билял—женим его. Хватит жить в городе. Четыре года уже там, пусть теперь с нами будет.

Старому чобану, который хотел бы всегда видеть сына около себя, видимо, понравилось это. Теребя кривыми пальцами коротенькую седую бородку, он одобрительно покачивал головой и улыбался.

Вечером Теслиме и Мемеш вышли на густо пови-

тое плющем крыльцо, уселись на сет и принялись выбирать Билялу невесту.

— Ну, кого ты считаешь достойной сына?—спросила Теслиме.

— Дочь Акара Арифа хороша,—подумав, ответил Мемиш.—Красивая девушка, здоровая, да и работяга большая.

— О, нет!—резко возразила Чала.—Сколько училась она? А агроному знающая жена нужна. Да, да. Дочь бригадира Мурата, по-моему, лучше: вежливая, нежная девушка, да и с образованием.

— Ну и нашла,—обиделся старый чабан.—Она же совсем мала ростом, будто ребенок. Нет, эта не пара Билялу.

Заботливые родители перебрали в этот вечер всех девочек селения. Они снова возвращались к дочерям Акар Арифа и Мурата, но невесту для Биляла, которая была бы им обоим по душе, так и не подыскали.

II

Наступили знойные июльские дни. Из городов стали возвращаться студенты. Однажды на табачной плантации увидела Теслиме стройную девушку. Пригладевшись, она узнала в ней Акиме, учившуюся в Феодосии. Еще недавно, два года тому назад, была Акиме совсем подростком. А теперь—пышные каштановые волосы, большие светлосерые глаза, крепкие загорелые руки. Совсем невеста! „Эта достойна моего Биляла. Она понравится ему“,—подумала Теслиме и мельком взглянула на других девочек, чтобы сравнить с ними Акиме. Работа у Теслиме шла вяло. Ежеминутно поглядывая на Акиме, думала она только о предстоящей свадьбе.

Домой Теслиме вернулась радостно взволнованная, всецело поглощенная мыслями об Акиме. Она по рассеянности положила в картофельный соус лишнюю ложку соли, упустила и разбила тарелку и дважды споткнулась о край подвернутого ковра.

В сумерки вернулся домой Мемиш. Сел он под высоким с жесткими листьями орехом, снял с ног растоптанные постолаы да пропыленные портянки.

Навстречу ему выбежала Теслиме.

— Эй, муж, я сегодня влюбилась! Влюбилась, понимаешь?

Старый Мемиш удивленно поднял седые брови.

— О чем ты болтаешь, в кого ты влюбилась? — почти сердито спросил он.

Теслиме присела на корточки и огляделась вокруг.

— В Акиме я влюбилась, в Акиме. Помнишь ее?

— Ах, Акиме! Дочь Джалагая Али. А как же мы не вспомнили о ней?

— Мала была. А теперь — хорошая девушка. Цветок. Высшую школу в Феодосии окончила. Сегодня газету в бригаде читала. Голос у нее соловьиный, и обо всем на свете знает она. Умная девушка.

Хоть и не принято в Отаре в летние вечера в гости ходить, но Теслиме с мужем пришла в тот вечер к Джалагаям. Семья Джалагая ужинала. За покрытым клетчатой клеенкой огромным столом сидел Джалагай Али, его жена и семеро детей. Увидев гостей, все положили ложки и встали.

Дородная Пенбе, жена Али, пригласила гостей к столу.

— С добром, должно быть, раз во время еды пришли, — сказала она.

Теслиме и Мемиш отказались от угощения и при-

сели на диван, стоявший у открытого окна. Уговоры были напрасны, и семья Джалагая снова окружила стол. Теслиме пристально смотрела на детей и втайне завидовала счастливым родителям. Ей вспомнились свои дети—полнолицый мальчик, шустрая, смуглолицая дочурка, умершие так давно. Вздохнула Теслиме, но когда взглянула на Акиме—забыла горе.

Мемишу тоже понравилась Акиме. Он взглянул на жену и лукаво подмигнул ей.

Теслиме и Мемиш не сомневались в том, что сговор состоится, но начать переговоры с Джалагаями они не решались. „Акиме девушка не простая... А вдруг обидится?“—думала Теслиме. Поговорив с Джалагаями кое-о-чем, совершенно не относящемся к делу, гости простились и ушли восвояси, утешая себя мыслью о том, что невеста для сына все же найдена.

Нельзя сказать, чтобы Джалагаи не догадались о цели прихода соседей. Готовясь ко сну, супруги долго шушукались о своих догадках. Говорили о том, как Теслиме не отрывала взгляда от их дочери и как старый чобан тоже то и дело украдкой поглядывал на Акиме и шурил узенькие глазки.

Разговор Теслиме с мужем длился еще дольше. Было уже далеко за полночь. За окнами слышался лишь мерный шелест жестких листьев ореха да однообразные голоса сверчков, напоминавшие перекличку городских сторожей.

III

В начале августа приехал в селение Билял. Утомленная ожиданием Теслиме, которой длинный летний день казался целой неделей, встретила сына посреди двора:

— Иди... иди, родной мой... иди, мой единственный. Глаза мои устали глядеть на дорогу... Почему же так долго заставляешь себя ждать?..

Она крепко обняла сына длинноватыми сухими руками и тихо заплакала от радости.

Биял нежно положил свои широкие ладони на костлявую спину матери.

— Одежда моя больно истрепалась, мать. Я ведь написал вам, вот и работал месяц в совхозе. Костюм купил и туфли. Успокойтесь, мать, не плачьте...

Теслиме одной рукой приняла у сына новый пиджак, а другой вытерла слезы.

— Хорошо... хорошо... уф, никак не удержу слез. Ну, заходи, заходи... Кто знает, как ты устал...

Биял, пригнув голову, вошел в дом и присел отдохнуть.

Теслиме села рядом. Биял за год заметно изменился: он вытянулся, стал еще выше, да и похудел. Но выглядит он хорошо: черные глаза попрежнему горят живостью, даже немного запыленные волосы, брови и ресницы несколько не потеряли жгучего блеска. Однако стал Биял еще более серьезным, молчаливым. Теслиме сейчас захотелось сказать кое-что об Акиме, похвалить ее, но она не решалась, выжидая удобного момента, и принялась готовить вкусный ужин.

Узнав о приезде сына, прибежал запыхавшийся Мемиш.

— С приездом, агроном!.. С приездом, родной! — радостно приветствовал он сына.

Биял тотчас поднялся с места и взял руку отца:

— Спасибо, спасибо, отец.

— Много заставляешь по себе тосковать, Биял!

В этот раз мы сильно соскучились по тебе. Но теперь ты никуда не уедешь, Билял. У нас ты один. Будь с нами...

— Посмотрим, отец, как придется...

— Не мое дело, как придется. Не уедешь—и все. Да,—повеселел старик,—мать для тебя нашла очень хорошую девушку: дочь Джалагая Али—Акиме. Очень красивая девушка и большая умница, сын мой.

— Мы старые стали,—вмешалась Теслиме,—обрадуй нас невестой, пока живы, сын мой...

Билял помрачнел.

— Нашли же вы, о чем говорить!—сказал он, не скрывая своего недовольства, и умолк, чтобы не обидеть родителей.

— Акиме теперь совсем не такая, какой знал ее ты,—стала уговаривать мать.—Увидишь и сам удивишься. В нашей деревне нет ей равной.

Билялу стало душно.

— Мама, давайте говорить о чем-нибудь другом. Мне ведь только двадцать первый год. Придет время—женюсь.

„Акиме кажется им крепким деревом. Привязав к ней, они хотят оставить меня в деревне“,—подумал Билял с огорчением.

Видя, что сын не расположен к подобным разговорам, Теслиме и старый Мемеш больше ничего ему о женитьбе не говорили.

Вечером, когда Билял ушел в деревню, Теслиме устало опустилась рядом с мужем и вполголоса сказала:

— Видел? Учили, учили, а теперь нас не слушается...

Старый чобан, как всегда теребя кривыми, угловатыми пальцами кудую бороду, задумчиво качнул головой.

IV

Уже три недели живет в Отаре Билял. Ходит он, держа в руках то одну, то другую книгу.

Было понятно, что жениться Билял не спешит. И не видно, чтобы он хотел оставаться в своей деревне. У Теслиме и старого чобана не было других средств, которые могли бы удержать его в Отаре. Родители горевали.

Однажды Теслиме прибежала с работы радостная, настолько радостная, что трепетало ее сердце, дрожали от волнения руки и ноги.

Встретив мужа у калитки, торчащей над низкой плетеной загородкой, она поспешно произнесла:

— Эй, муж, муж... есть новость... большая новость!.. Заходи скорей... скажу...

Старый Мемеш, ходивший целый день за колхозным стадом и изрядно утомившийся, проворно зашагал за женой. Он, не сбрасывая со спины чалмана, сел на нагретый солнцем камень.

— Знаешь что?—начала Теслиме, тревожно озираясь по сторонам, будто должна была сообщить строгую тайну.—Оказывается, Билял любит Акиме!..

— Да ну?—поднял голову Мемеш.

— Женщины говорят, что он каждый день бывает с ней вместе. И удивляются, почему об этом до сих пор не знаем мы?

— Каждый день вместе?

— Да. Вчера Фадьме собственными глазами видела, как Билял шел рядом с Акиме.

— Ты подумай! Неужто дело пойдет само по себе, без хлопот, а? Я пойду посмотрю, Теслиме. Авось встречу их где-нибудь.

Старый чобан, сбросив чалман на земляной пол крыльца, пошел в деревню, радостно бормоча:

— Какое дело, а! Сам ничего не говорит. Даже имени Акиме не упоминает. Ай, какой молчаливый Билял! Какой скрытный...

Мемиш обошел деревню, был в абрикосовом саду, но, не найдя сына, направился в клуб. Было уже темно. В зале никого не было. Он, мягко ступая по ступенькам узкой лестницы, крадучись поднялся на второй этаж. В читальне был свет. Мемиш подошел к окну и, приставив обросшее волосами лицо к стеклу, увидел сидевших рядом Биляла и Акиме.

— А, нашел,—обрадовался он,—смотри ты на них, где спрятались!

Билял читал какую-то книгу. Акиме, сидя совсем близко, слушала его. Книга была на русском языке. Вдруг Билял и Акиме рассмеялись. Затем Билял снова принялся за чтение. Мемиш слушал внимательно, будто понимал русский язык, и каждый раз, когда, прерывая чтение, смеялись Билял и Акиме, он тоже радостно улыбался. Простояв в коридоре с полчаса, Мемиш, наконец, вышел из клуба и почти бегом пустился домой.

— Теслиме... Теслиме... Правду тебе сказали... чистую правду... Сам теперь видел... своими глазами,—и Мемиш подробно рассказал то, что он видел.

В этот вечер у Теслиме и Мемиша снова завязался разговор о том, как просватают они сына за Акиме и женят его. Разговор продолжался до позднего вечера. Родители настолько увлеклись им, что даже

не заметили, как притих и угас маленький самовар, кипевший с таким веселым визжанием. Спать не хотелось. Теслиме и старый Мемиш говорили о многом. Уже сейчас они решили отдать сыну и невестке светлую комнату, перенести туда гардероб, стол и новые стулья, купить ковер, занавески.

Свадьбу они думали устроить в клубе. Теслиме и Мемиш немало шушукались и о том, кто больше всего достоин приглашения на свадьбу из соседних деревень. Затем Теслиме говорила о том, что из куса синего атласа, который остался у нее в сундуке еще с молодости, она сделает одеяльце для внука, а из другого куса—маленькие подушечки...

Старому чобану, который вставал очень рано, захотелось уже спать.

— Ну, хватит, Теслиме,—сказал он, слезая с сета.— До реки еще далеко, а мы уже приготовились: посталы сняли, чулки. А ты даже сундук свой выпораживать начала.

Сказав это, Мемиш зашел в комнату и лег на постель.

На следующий день, вечером, когда Теслиме и Мемиш собирались пойти к Джалагаям и прямо заявить о своем намерении женить сына на Акиме, в комнату вошел Билял. В руках у него было распечатанное письмо.

— Завтра уезжаю в город, в институт!—сообщил он и положил на стол письмо.

Ошарашенные столь неожиданной вестью, Теслиме и Мемиш, мигая глазами, молча смотрели на сына. Теслиме, как бы не веря ему, взяла со стола письмо, досадливо осмотрела его, а потом упавшим голосом спросила:

— Билял, а как с Акиме?

— И она поедет, мама. Поступает в мединститут. Словом, доктором будет.

— Билял,—начал старик, чуть не плача.—Ты уже агроном. Чему еще учиться?

— Я только пол-агронома, папа. Надо стать агрономом полным.

И Билял принялся укладывать в чемодан одежду и книги.

— Опять уезжает...—печально произнесла Теслиме...—Теперь через год приедет. Жди каждый день письма и волнуйся.

Теслиме поднялась с места:

— Когда поедет Акиме, сынок? Поехали бы вместе.

— Скоро и она выедет, мама. Ждет сообщения из института. А я спешу, через несколько дней занятия начинаются.

Рано утром, распростившись с матерью и отцом, Билял отправился в дорогу. Старый Мемиш, повесив голову, а Теслиме, вытирая глаза, направились на работу.

В этот день опечаленная мать забралась в угол табачного сарая, подальше от всех, и работала молча, ни разу не вмешиваясь в разговор женщин. Девушки, видя ее печаль, не шутили с ней. Только дочь бригадира Мурата, наполнив свой передник крупными листьями табака, высыпала их перед Теслиме, желая оказать уважение загрустившей матери.

V

Долго ходила Теслиме на работу подавленная, молчаливая. Прошло несколько месяцев, и она забыла свою печаль, немного повеселела.

— Билял все учится и учится,—говорила она

теперь.—В главной школе учится. Будет самым большим агрономом...

Хоть и гордилась она будущим агрономом своим, но в душе ругала „главную школу“, которая разлучила ее с сыном.

Не знала Тесlime, что сын ее встает теперь каждое утро на рассвете и бегаёт на аэродром. Там прыгает он с парашютной вышки точно так, как, будучи мальчишкой, прыгал с плетня на мягкую траву. Если бы знала она, как на днях Билял прыгал с самолета с высоты в тысячу метров, как бы испугалась бедная мать. Хорошо, что Тесlime, да и остальные жители Отара об этом не знали. Об этом и Акиме в своих письмах к матери не написала. Как же писать ей, если она уже целый месяц вместе с Билялом посещает школу парашютистов и со странным чувством, чувством страха и решимости, готовится прыгать с самолета.

Узнай об этом Пенбе, мать ее, человек со спокойным и ровным характером, и та всполошилась бы. А Джалагай Али тотчас выехал бы в город уговаривать дочь, и даже поругал бы ее.

Когда Акиме училась в Феодосии, она увлекалась волейболом, баскетболом, а на парашютный спорт смотрела с каким-то содроганием, считая его опасной забавой. Но с тех пор, как подружилась она с Билялом, мнение ее о парашютном спорте изменилось. У нее теперь чем дальше, тем больше усиливалась страсть подняться высоко-высоко над землей и, летая птицей в чистом просторе, наблюдать мир.

В середине ноября в одно тихое и необычайно теплое утро на машине привезли Акиме в аэроклуб. После осмотра врачом, она снарядилась к прыжку.

Когда Акиме была в кабине самолета, прибежал взволнованный Билял.

— Хорошо, что успел... Ты уже.. готова, Акиме?— спросил Билял, часто дыша.

— Да-а,—ответила Акиме, и, желая казаться бойстрой, улыбнулась. Однако побледневшее лицо, широко раскрытые светлосерые глаза ее, говорили о том, что сердце девушки бьется тревожно.

— Не волнуйся, Акиме!... Ничего с тобой не будет,—начал успокаивать Билял, но шум мотора прервал его слова.

Огромная стальная птица с двойными крыльями, подняв своим пропеллером целый буран, помчалась вперед и взмыла вверх.

Теперь весь город, заводы с высокими трубами, железная дорога и река, все это лежало внизу на тусклом осеннем поле, как грандиозная картина, написанная огромной кистью. Но сейчас Акиме не до этих предестей. Ее мысль занята прыжком, и она не в состоянии любоваться открывшейся панорамой.

В этот напряженный момент инструктор подал команду „приготовиться“. Акиме, цепко держась за борт самолета, неспеша вышла на плоскость крыла.

Выждав момент, она прыгнула. Чуть заметный, тихий утренний ветерок отнес ее в сторону, к вспаханному полю. Она только теперь окинула взглядом окрестность. Ей сразу стало легко и весело. Захотелось петь, позвать Биляла. Но, чувствуя, что она все быстрее и быстрее опускается вниз, Акиме свела согнутые в коленях ноги... „Земля уже совсем близко... земля, которая кормит всех людей, животных и насекомых! Ах, с какой силой она тянет к себе человека!“ —подумалось ей.

Акиме коснулась ногами земли. Тем временем примчался Билял.

Совсем иными глазами посмотрела Акиме на своего земляка, несколько раз глубоко вздохнула, улыбнулась, но почему-то ничего не сказала.

Билялу захотелось обнять ее и, неся на руках, представить начальнику клуба. Но другие парашютисты, подоспевшие в этот момент, прервали его сладкую мечту.

Так два студента из далекого селения Отар стали парашютистами.

Наступило жаркое лето. Теслиме давно уже ходила и приговаривала:

— Скоро приедет Билял. Приедет из главной школы.

Наконец, настал и долгожданный июль. Билял и Акиме зашли в кабинет начальника аэроклуба.

— Товарищ начальник. Мы, значит, Акиме и я поженились,—сказал Билял и нерешительно подошел к столу.

— Хорошо, очень хорошо,—поднялся начальник.— Стало быть будете работать вместе дружной семьей, не так ли? Поздравляю, поздравляю вас!

Акиме все еще стояла возле дверей. Начальник, подойдя к ней, сперва поздравил ее, затем Биляла. Акиме покраснела.

— Товарищ начальник,—снова заговорил Билял.— Во время каникул мы хотели побывать в своей деревне.

— Я не против. Поезжайте...

— Это хорошо, товарищ начальник, но... мы не хотим ехать туда на подводе...

— Туда, кажется, нет железной дороги?

— Да, село наше далеко от железной дороги, товарищ начальник. Поэтому мы хотели туда полететь...

— Полететь?!—удивился начальник.

— Да, мы хотим показать односельчанам, как прыгают с парашютом.

— Хорошо,—согласился начальник после некоторого раздумья.

VI

Горбатый почтальон, напоминающий на велосипеде большого паука, кричал еще издали:

— Тетя Теслиме! Вам телеграмма, телеграмма!

— Мне телеграмма?.. Неужто несчастье с сыном случилось?!..

Женщины с любопытством и тревогой окружили Теслиме. Дочь бригадира Мурата, прочитав телеграмму, объяснила:

— Сын ваш женился на Акиме, завтра вечером в Отар приедут...

Теслиме побледнела, слезы радости сразу показались на ее глазах. Она взяла телеграмму обеими руками и держала ее перед собой. Затуманенные слезами глаза ее ничего не видели.

— Ах, ты мой родной, послушался все-таки меня, нашел Акиме...—шептала она в забытьи.

Весть, которую принесла телеграмма, распространилась так быстро, словно ее разнес ветер. Сегодня и старый чобан вернулся с пастбища рано. Он, не знавший песен и не умевший петь, сегодня все время ходил и бурчал какую-то мелодию.

А Теслиме готовилась. Она вымыла все окна, вычистила медную посуду, сперва золой, а затем кис-

лым катыком, а фарфоровую посуду начисто вытерла самотканым мягким полотенцем, после чего расставила все это рядами на полки, так что каждый саан, кастрюля, тарелка, чашка и блюдо были на виду, словно на выставке.

Правление колхоза, узнав о женитьбе студентов-отарчан, решило устроить красную свадьбу.

Утром молодежь вынесла из клуба все столы и стулья и расставила их под широким навесом, покрытым листьями винограда. Двое пожилых женщин и несколько девушек принялись готовить угощения. Пришли Теслиме и Пенбе, одетые в клетчатые летние платья.

К вечеру, когда солнце опустилось совсем близко к горам, отарчане стали собираться под прохладным навесом.

Стол, застеленный белыми скатертями, были уставлены разной снедью. От черных чугунных котлов, поставленных на огонь на железных треножках, несло жирным запахом рисового пилана; поодаль стоял, точно разодетый царский генерал, громадный самовар.

Теперь все готово. Но студентов все еще нет. Теслиме и Пенбе стали беспокоиться, а вдруг не приедут?

Они вышли на улицу и нетерпеливо поглядывали на проселочную дорогу, которая видна была далеко-далеко меж хлебных полей. Они думали, что Билял и Акиме непременно приедут этой дорогой. И вдруг над деревней появились два самолета. Все отарчане высыпали из-под навеса. Кто-то с самолета помахал рукой.

Сделав над деревней два круга, самолеты устреми-

лись ввысь. Когда они были уже довольно высоко, от них оторвалось одно за другим нечто черное... Точки эти повисли на белых зонтиках.

— Парашютисты!—выкрикнул кто-то.

Все побежали в степь. В этой суматохе Тесlime не заметила, как старый Мемиш скрылся в толпе колхозников.

— Откуда же взялись эти аэропланы, будь они не-ладны,—огорченно посмотрела Тесlime на Пенбе и они снова повернулись к дороге:

— Не видно. Хотя бы доехали благополучно...

Когда матери с таким беспокойством ждали своих детей, к ним прибежал мальчик.

— Тетя Тесlime... Тетя Пенбе... Это наши прилетели: Билял ага и Акиме апте... Вот они идут сюда,—и мальчик снова побежал к толпе.

Тесlime вздрогнула, точно на нее вылили целое ведро холодной воды. Ошеломленная, она сделала несколько неловких шагов, с тревогой глядя на Пенбе.

— Да не пугайтесь же, бедная!—сказала Пенбе дрожащим голосом.—Значит, на самолете прилетели. Вот, черти, ой какие шалуны они!—и потянула Тесlime к колхозникам.

Пока они обошли школьный двор, толпа была уже на улице. Билял и Акиме, выйдя из гущи колхозников, бросились к своим матерям. Тесlime снова заплакала:

— Зачем ты, дитя мое, делаешь это? Ты, видно, хочешь остановить слабое мое сердце...—Она поделовала сына и удивленно посмотрела на синий комбинезон, на ушастый кожаный шлем.

— А где Акиме? Иди, моя дочка, взгляну на тебя. Ах ты,

сероглазый мотылек,—Теслиме обняла невестку:—как же ты не боишься прыгать с такой высоты?

Под звуки авиационного марша, который исполняли двое колхозных скрипачей и бубнист, все заняли свои места под навесом. Бригадир Мурат усадил Биляла и Акиме за первый стол. Теслиме и старый Мемиш сели рядом с сыном, а Джалагаи—рядом с дочерью. Несколько маленьких Джалагаев тотчас пристроились между ними.

Председатель сельсовета, пожилая женщина, подняла руку. Это означало: „успокойтесь, начинаем!“ Она произнесла довольно длинную речь, какую она произносила каждый раз, открывая красные свадьбы осенью. Но в этот раз, она кончила свою речь совершенно иначе:

— Товарищи,—сказала она,—с тех пор, как наш Отар зовут Отаром, здесь было очень много свадеб. Мы видели свадьбы девушек-сирот, которые шли к жениху пешком, видели свадьбы девушек бедных, отправляющихся к жениху в безрессорном дилижансе с колокольчиками, видели свадьбы кулацких дочерей, отправлявшихся на фэтонах с бархатной обшивкой. Наконец, каждую осень видим красные свадьбы колхозных девушек, приезжающих на автомашинах. Но нам сегодня довелось видеть свадьбу, на которую жених и невеста прилетели точно так, как прилетают весною журавли.

Один за другим выступили представители всех четырех бригад колхоза. Они поздравляли новобрачных и пожелали им счастливой жизни. Так каждый раз кончалась торжественная часть красной свадьбы в Отаре. Сейчас, взяв в руки бокал, еще раз поднимется пред-

седатель сельсовета, и тогда все, опустошив свои рюмки, станут закусывать и веселиться.

Но неожиданно поднялась молодая женщина из табачной бригады с ребенком на руках.

— Джемаат!¹—крикнула она, улыбаясь. — Пусть теперь тетушка Теслиме скажет что-нибудь!

— Пусть, пусть скажет!—загудели все.

Не только перед всем обществом Отара, но даже перед своей бригадой стеснялась выступать Теслиме Чала. Сейчас же она, растерянно пожав плечами, посмотрела на своих односельчан, будто спрашивала: „что же я смогу вам сказать?“

Председатель опять подняла руку. Все притихли.

Теслиме медленно встала, поправила свой широкий платок, морщинистое худое лицо ее стало розовым, на лбу выступил пот. Она чувствовала, что дрожат ее руки и подкашиваются ноги.

Пересилив волнение и делая после каждого слова паузу, Теслиме прерывающимся голосом начала:

— Я не знаю... что вам сказать... уважаемый джемаат... Сегодня я очень обрадована... Если бы можно было... я вынула бы свое сердце и положила его на чистую тарелку... Тогда все увидели бы, как велика моя радость... Словами я передать вам ее не могу... Только те матери, у которых есть лишь одно дитя... только они, они могут понять, что я сейчас переживаю. У меня есть один сын, вот он,—указала Теслиме дрожащей рукой,—один единственный сын, которого час назад к нам принесли небеса.

Все отарчане, растроганные, затаив дыхание, смотрели на Теслиме. Бедная мать, не найдя слов, сделала

¹ Джемаат—общество.

слишком большую паузу, вынула из широкого кармана вышитый платок и вытерла глаза.

— Джемаат...— снова заговорила она, — теперь у меня есть и дочь... И она, прилетев, как весенняя ласточка, прибавила моей радости еще большую радость... Что еще сказать, джемаат? И сын и невестка—оба учатся... Сын мой будет самым большим агрономом... Невестка будет — доктором... Их учит советская власть... Советская власть воспитывает их такими умными и смелыми...

Теслиме, кажется, сказала все, что знала. Но джемаат ждал. Ни звука, ни вздоха не было слышно. Теслиме снова вытерла глаза и лоб. Надо было еще что-то сказать...

— Мне уже пятьдесят лет, джемаат,—как-то громче и смелее сказала она и взяла граненую рюмку, стоявшую перед ней.—Я в первый раз в жизни беру в руки рюмку с вином и эту первую рюмку поднимаю в честь советской власти, которая учит моего единственного сына, мою любимую невестку, в честь власти, которая обрадовала меня сегодня до слез.

Сразу вспыхнула буря рукоплесканий. Теслиме растерянно смотрела на своих односельчан: ведь ничего особенного она не сказала... А они хлопали и кричали ей. Она опустилась на стул, охаянная радостью, улыбнулась и эта улыбка говорила: „Я сегодня счастливее всех“.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
От издательства	3
Слава (народная песня)	5
Ю. Болат.	
Копюрли-кой. Отрывки из первой части романа „Алим“. Перевод <i>Р. Вуля</i>	7
Ш. Алядин.	
Перекоп. Стихи. Перевод <i>В. Петровского</i> . .	40
Я в армию иду. Стихи. Перевод <i>Б. Брика</i> .	41
Эльпиде. Стихи. Перевод <i>Б. Брика</i>	42
Жизнь. Стихи. Перевод <i>С. Мандельштама</i> .	43
О. Амит.	
Отчизна. Стихи. Перевод <i>М. Грунина</i> . . .	45
Беглец с Карпат. Стихи. Перевод <i>Б. Брика</i> . .	46
Новый год. Стихи. Перевод <i>А. Тарковского</i> .	49
У Хасана. Стихи. Перевод <i>М. Грунина</i> . .	51
М. Сулейман.	
В ту ночь... Стихи. Перевод <i>М. Грунина</i> . .	53
Сиваш. Стихи. Перевод <i>А. Тарковского</i> . .	54
Хайтарма. Стихи. Перевод <i>Н. Тарасенко</i> . .	56
Д. Шерфедин.	
Восемнадцатый съезд. Стихи. Перевод <i>М. Гру-</i> <i>нина</i>	58
Пионеры. Стихи. Перевод <i>В. Петровского</i> .	58
Весна. Стихи. Перевод <i>Е. Кузнецова</i> . . .	59
М. Дибак.	
Таш-дуду. Рассказ. Перевод <i>Э. Алимова</i> .	60
А. Алтанлы.	
Скада Кокташ. Стихи. Перевод <i>С. Мандель-</i> <i>штама</i>	73
Ненависть. Стихи. Перевод <i>А. Булдеева</i> .	74
Дом. Стихи. Перевод <i>М. Грунина</i>	76

Р. Мурат.

Пой, товарищ! Стихи. Перевод <i>Я. Чапичева</i>	78
Клянусь! Стихи. Перевод <i>В. Петровского</i>	79
Виноград. Стихи. Перевод <i>А. Быняева и М. Грунина</i>	79

А. Алим.

Письмо. Стихи. Перевод <i>Б. Макарова</i>	81
У мавзолея. Стихи. Перевод <i>Б. Макарова</i>	82

И. Бахшиш.

Алупка. Стихи. Перевод <i>А. Тарковского</i>	83
Айше. Стихи. Перевод <i>М. Грунина</i>	86

Э. Алимов.

Горлица машет крылом. Рассказ	87
-------------------------------	----

И. Салет.

Родина. Стихи. Перевод <i>М. Грунина</i>	98
--	----

Э. Дерменджи.

Мраморные склоны. Стихи. Перевод <i>Б. Макарова</i>	99
Ялтинская весна. Стихи. Перевод <i>А. Быняева</i>	100

К. Джаманаклы.

Комсомолу. Стихи. Перевод <i>А. Тарковского</i>	101
Море. Стихи. Перевод <i>М. Грунина</i>	102

А. Мефаев.

Вечер. Стихи. Перевод <i>А. Быняева</i>	103
---	-----

М. Дибег.

В далеком селении. Рассказ. Перевод <i>И. Горелова</i>	105
--	-----

ТАТАРСКИЕ ПИСАТЕЛИ КРЫМА
Сборник художественных произведений
Госиздат Крымской АССР
1940 г.

*

Составители-редакторы:

Р. Вуль, М. Грунин, М. Дибаз.

Тех. редактор *А. Бондаренко.*

Корректор *В. Терабилло.*

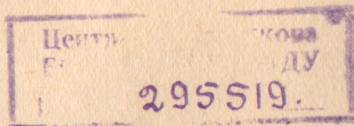
Обложка художн. *А. Варфоломеева.*

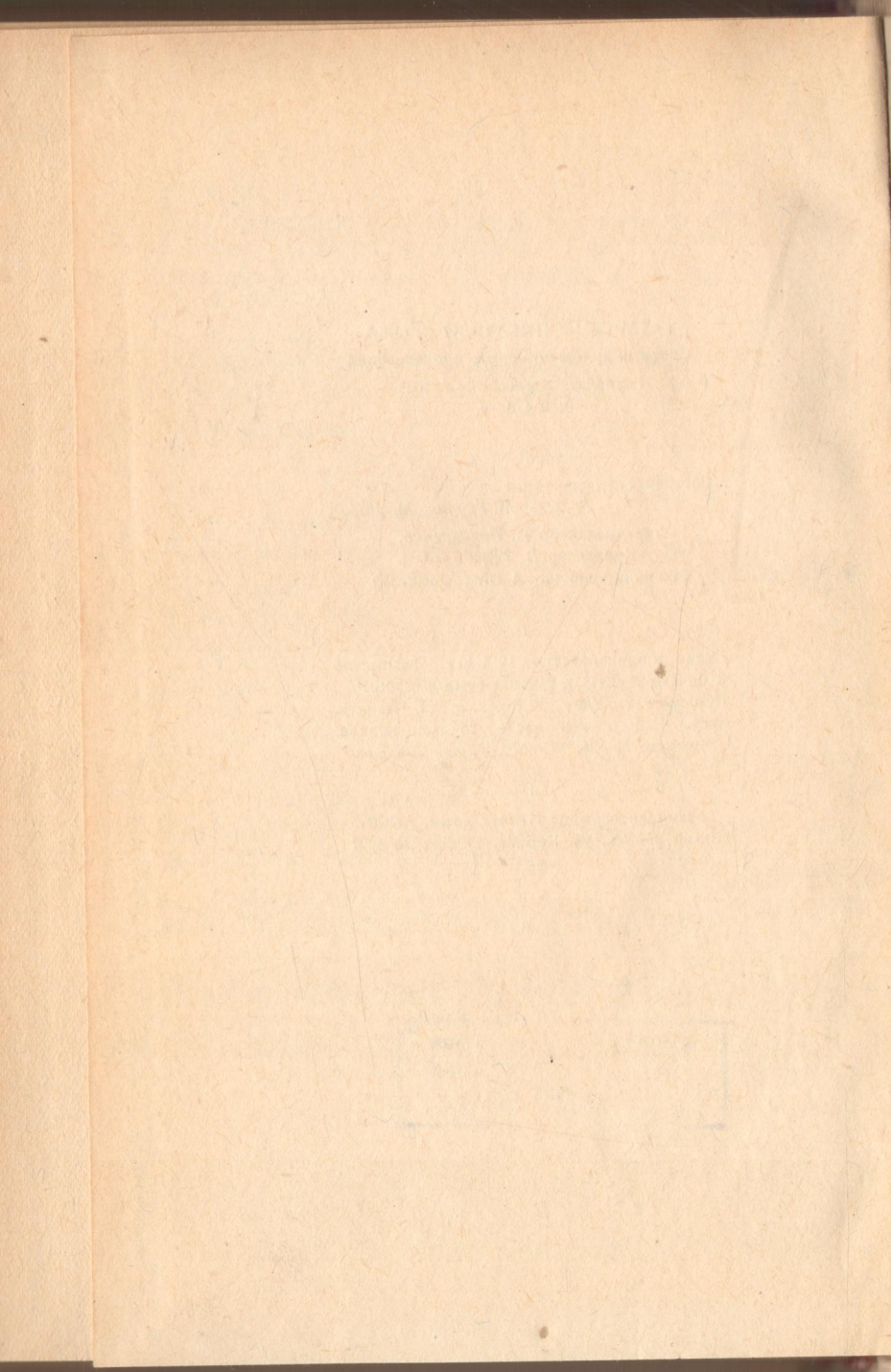
*

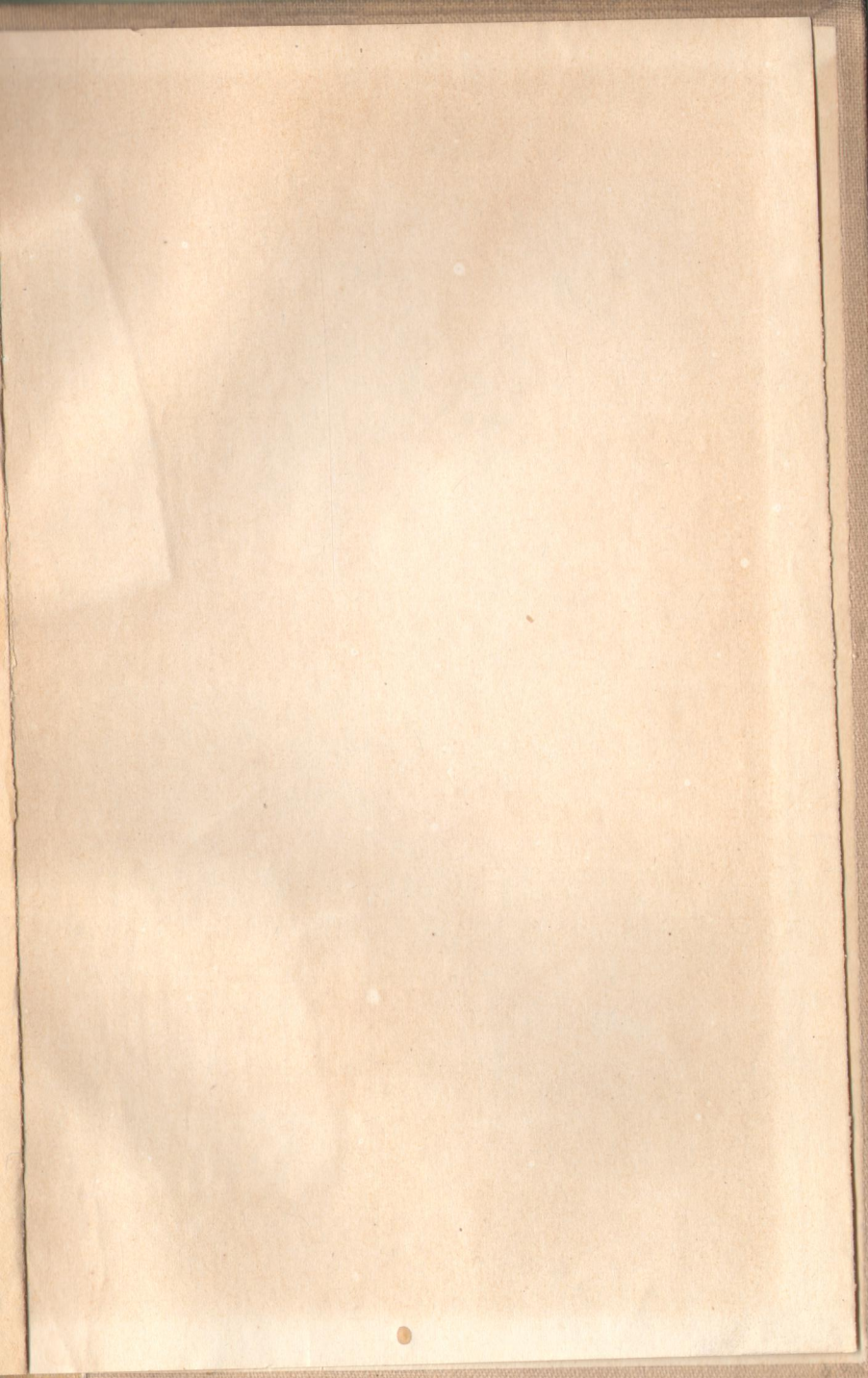
Сдано в производство 16/X-40 г. Подписано
к печати 10/X-40 г. Формат бумаги $82 \times 108 \frac{1}{32}$.
Бум. лист. 2. Учет. авторск. л. 4,2. Печатн.
лист. 8. В печат. листе 25 тыс. знаков.
Крымгиз № 596. Ф. 3672. Тираж 7000 экз.

*

Гостиполитография НКМП Крым. АССР.
Симферополь, ул. Кирова, 23. Зак № 4097







ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАКАЗ
№ 20 3 кв. 6355-
1/11 45

МБ

Контроль № 2

W

x